

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Мережковский Д. Россия и большевизм.

Беседа с редактором и издателем газеты «Наш край» Ю. Сумороком[1]. Знаменитый автор «Юлиана Отступника», «Антихриста» («Петра Великого»), «Леонардо да Винчи», «Александра I» Дмитрий Мережковский посетил вчера редакцию «Нашего края» в сопровождении известного публициста Дмитрия Философова.

Разговор пошел на тему актуальных вопросов политики.

Оба выдающихся русских писателя весьма заинтересовались заявлением, сделанным английским представителем О'Греди сотруднику «Морнинг пост» касательно выдвинутой в копенгагенских соглашениях возможности смены системы советов в России.

– Смена такая, – говорил г. Мережковский, – вполне возможна. Мы должны себе отдавать отчет в том, что в России фактически давно уже нет ни тени советской власти, которую заместила автократия Ленина и Троцкого. Автократия эта удерживается благодаря той самой силе, которая поддерживала «самодержавие» царей; она есть эксплуатация психологии несознательной толпы, которая, как раньше окружала особу царя почитанием и обожанием во имя внушенного ей убеждения, что царь – «помазанник» Божий, так и сегодня те же самые чувства питает к красному царю Ленину, которого ему представили, как воплощение идеи социализма – всеобщей справедливости. Как в те времена царь использовал христианские идеалы, святотатственно злоупотребляя верованиями народа, так и сегодня красный царь Ленин использует идеи всеобщей справедливости, с которыми у него нет ничего общего.

И именно как Ленин, так и Троцкий, отдавая себе в этом отчет, готовы в любой момент пойти на так называемую смену строя, устроить маскарад «конституционного народного собрания», которое из-за полного подавления интеллектуальных сил России станет еще одним советским митингом.

Европа, и в особенности Англия, – утверждает наш знаменитый собеседник, – не знает России вообще, а сегодняшней особенно. И это обстоятельство используют большевики. Они знают, что в России ничего создать нельзя, не меньше того они знают свою силу разрушения всего, и не только у себя, но и во всем мире. Большевики отдают себе отчет и в тех великих потрясениях, которые сейчас переживает вся Европа.

Отсюда готовность «смены строя» в России, естественно, в надежде, что эта «смена» обеспечит им возможность фильтрации в Европу действительно отлично организованной идеи разрушения.

– Польша, – говорит Мережковский, – сегодня единственный активный фактор в Европе, как организм, развивающийся в государство.

Польша образует сегодня вал от затопления Европы большевизмом. Поэтому роль Польши исключительно ответственна.

Плохо информированы французы о России, если утверждают, что большевизм – это революционное движение. Задача Польши исправить эту ошибку: ибо большевизм – это величайшая реакция, которую можно себе вообразить, – разрушение культуры и упразднение свободы и принципа личности на несколько лет.

И ваши солдаты, победоносно идущие вперед, должны знать, что не во имя завоеваний и подавления «революционных волнений», но во имя свободы, которую несет их оружие, они должны сражаться с большевиками.

Русский народ примет польских солдат с открытыми руками, – заверял нас великий писатель.

В этом месте нижеподписавшийся прервал диалог вопросом, почему интеллигенция, так многочисленная в России, просто не проявляет признаков жизни, – почему в обществе, которое состоит в большинстве из противников большевизма, не пробуждается никакой реакции против власти Ленина. – В Польше, – говорил я, – чем сильнее был гнет, тем сильнее реагировало на него здраво мыслящее общество. Несколько лет мы должны были жить подпольной жизнью, мы готовили и разжигали очаги бунта, которые сегодня дали плоды в виде обретения оружием целостности Родины...

Ответ на этот вопрос дал г. философ.

– Лишение свободы слова, террор и преследования смели некоторым образом с поверхности нашу интеллигенцию. Если вы были в прифронтовых местностях и видели разрушенные города, руины церквей и зданий, – то скажу вам, что эти руины точно отражают то, что в области культуры осталось в России после уничтожительной работы большевиков... Вы говорите о польских восстаниях. Но нужно помнить, что и эти восстания готовились в эмиграции в течение целых лет, что эмиграция посылала эмиссаров в страну, что только под их влиянием пробуждался дух польского революционера.

То же самое происходит сейчас и в России. Интеллигенция и лучшие русские личности в эмиграции основывают очаги мысли, противостоящей большевизму. Естественно, это работа поколения, которая сразу не может принести плоды.

– Вы не можете себе представить, – включается господин Мережковский, – как затруднена роль интеллигенции в современной России. Одно можно установить, как результат большевистской деятельности: факт создания большевиками нового, совершенно до тех пор неизвестного общественного класса в современной России – мелкой буржуазии, среди которой интеллигент ненавистен, как тот, кто по природе вещей сопротивляется большевистским теориям, которые эту мелкую буржуазию вызвали к жизни.

Идея социальная здесь доминирует. Политики, можно сказать, здесь нет совершенно.

И вот сейчас этот новый класс людей жаждет одного: чтобы пришел кто-то сильный и гарантировал им землю и права, которые они получили еще во время февральской революции.

Если бы это поняли Юденич и Деникин, действия их не закончились бы поражением.

К сожалению, как один, так и другой шли на Россию во имя возрождения бывшего государства, с которым многомиллионные русские массы раз навсегда распрощались. Юденич раздумывал, признавать ли Финляндию; Деникин не формулировал ясно своего отношения к независимой Польше – и эти политические шаги погубили их окончательно. Потому что русский народ не хочет сейчас чужого.

– А каково ваше отношение к Польше? – спросил я.

– Оба мы с г. Мережковским, – сказал г. философ, – стоим на почве прав Польши на границы 1772 г. Признание этих прав должно быть исходным пунктом при установлении польско-русских отношений.

О частностях не сужу. Знаю одно, что ввиду общей опасности, какой грозит нам большевизм, отношения между Польшей и возрожденной Россией должны быть самые дружественные.

На этом закончилась беседа, отчет о которой предоставляем нашим читателям.

#### БЕСЕДА С Д. С. МЕРЕЖКОВСКИМ[2]

Вы спрашиваете меня о ближайших планах и намерениях. Главная наша задача по мере наших слабых сил содействовать возрождению России, я бы даже сказал ее воскресения.

Для того, чтобы Россия была, а по моему глубокому убеждению ее теперь нет, необходимо, во-первых, чтобы в сознание Европы проникло наконец верное представление, что такое большевизм. Нужно, чтобы она поняла, что большевизм только прикрывается знаменем социализма, что он позорит святыне для многих идеалы социализма, чтобы она поняла, что большевизм есть опасность не только русская, но и всемирная.

Затем, мы находим, что будущее России зависит от ее отношений с Польшей. Только тесная связь с Польшей, только признание исторических прав Польши на ее территорию – может служить основой для дальнейшего более тесного сближения двух народов, и почему знать, для дальнейшего сближения всего славянства.

Здесь, в Вильне, мы встретили самый радушный прием, но центр политической жизни теперь в Варшаве, и мы спешим туда. По необходимости мы останемся в Вильне всего несколько дней.

– Каково положение в России русской литературы, русских писателей?

– Лучше не спрашивайте. Какая может быть литература, когда уста писателей запечатаны. Страшно подумать, что при царском режиме писатель был свободнее, нежели теперь. Какой позор для России, для того изуверского «социализма», который царствует теперь в России! В России нет социализма, нет диктатуры пролетариата, а есть лишь диктатура двух людей: Ленина и Троцкого.

КРИК ПЕТУХА[3]

– Еще «Свобода»? Нет, довольно. Не свобода нужна нам сейчас, а власть. Большевики – умницы: ни с какими «свободами» не церемонятся и создали власть, – это вы у них не отнимете. Может быть, не только в России, но и во всей Европе это сейчас единственная крепкая власть.

– Завидуете?

– Во всяком случае, не презираю. Есть чему поучиться. И уже поверьте, никакой «Свободой» их не примешь. Никого не соберете вы под этим знаменем...

Я не сомневаюсь, что здесь, за рубежом, таких разговоров было и будет много. Но именно здесь. А там, в России? Ведь все, что здесь, так непохоже на все то, что там. Здесь и там – «этот» свет и «тот». Свобода, слово, уже заглохшее здесь, как прозвучало бы там?

Глубочайшая метафизика большевизма, не отвлеченная, а воплощаемая в действии реальнейшем, небывалом по своим размерам всемирно-историческим, есть отрицание свободы. Можно сказать, что большевизм существует в той мере, в какой отрицает свободу. В этом смысле учителя и пророки большевизма даже не считают нужным лицемерить.

Ленин начал с того, что объявил со свойственной ему арифметическую точностью: «социализм (большевизм) есть учет». Абсолютная мера учета – равенство – равенство человеческих личностей, превращенных не в рабов, не в скотов, даже не в зерна «паюсной икры», а в частицы серой пыли, молекулы бездушной материи, атомы тех не человеческих, а только физических «масс», которые служат предметом большевистских «опытов». Абсолютная величина – равенство, а свобода – нуль, ничто, «буржуазный предрассудок», та ложь, на которой весь старый мир, как на оси своей, вертится. Выдернуть из него эту ось и значит – уничтожить старый мир и создать мир новый.

«Свобода, Равенство, Братство», – из этих трех заветов Великой революции большевизм сохраняет одно только «равенство» – без свободы и без братства: вместо свободы – рабство, какого никогда на земле не бывало, вместо братства – братоубийство, какого тоже никогда на земле не бывало, вплоть до антропофагии (это сейчас, в России, уже не легенда).

Что в тайне совести своей думает Ленин о Великой революции французской? Считает ли ее только малым началом великого конца революции русской или таким же нулем, «буржуазным предрассудком», как и самое понятие свободы? Но в обоих случаях, Свобода и Равенство – два понятия, взаимно друг друга исключаящие – такова метафизика, повторяю, не отвлеченная, а реальнейшая, вошедшая в плоть и кровь большевизма. Начало большевизма – конец свободы; убить свободу – родить большевизм, и наоборот. Вот почему большевики – свободоубийцы изначальные.

Великая революция французская открыла человечеству небо свободы, под которым мы все еще ходим; дало человечеству воздух свободы, которым мы все еще дышим. Великая реакция русская – большевизм – хочет заменить небо стеклянным колпаком, и воздух – безвоздушным пространством. В России они это уже сделали; сделают ли и во всем мире? Вот вопрос.

Мы здесь, под вольным небом, дышащие, не понимаем, что значит воздух. Но это понимают все, кто там, в России, под стеклянным колпаком, задыхаются. И если скажут им: «Воздух!» – разве могут они не ответить?

О, только бы туда, в Россию, долетел этот крик: «Свобода!» – и Россия ответит, и расточится большевизм, как дьявольская нечисть – от крика петуха.

#### КРАСНЫЙ ДЬЯВОЛ[4]

Нож в руках сумасшедшего страшен. А вступать в «мирные переговоры» с сумасшедшим, не вырвав ножа из рук его, – еще страшнее. Сумасшедший хитер: перехитрит всех умников и посмеется над ними.

Красная армия в руках Ленина-Троцкого – нож в руках сумасшедшего. Спор о том, сильна ли красная армия, остер ли нож – глупый спор. Дело не в остроте ножа, а в остроте сумасшедшей хитрости. Тупой перочинный ножик в руках помешанного, когда он крадется ночью к спящему, опаснее самых острых ножей. А ведь это именно сейчас и происходит. Европа спит, а Троцкий-Ленин крадется к ней – вот-вот полоснет по горлу тупым перочинным ножиком красной армии.

Или, может быть, Европа уже проснулась и вся трясется, не видит, не слышит, не понимает – только трясется, суется и гибнет бессмысленно? Ведь не страшное губит, а страх.

Думаю, это-то именно сейчас и происходит с Европой.

Вождь великого народа предложил себя в посредники для мирных переговоров Польши с Советским правительством. Советское правительство ответило дипломатической пощечиной. Что же делает вождь великого народа? Что делает сам великий народ? Военная эскадра направляется в Балтийское море (в который раз?); двинуты шестнадцать дивизий с шестнадцатью генералами на помощь Польши. Но вот беда: генералы уже прибыли, а дивизии еще не успели. Успеют ли?

А хитрый сумасшедший с тупым перочинным ножиком все крадется да крадется и тихонько смеется над бормотанием спящего о шестнадцати дивизиях без генералов и шестнадцати генералах без дивизий.

Мы давно уже знаем: все слова тщетны. Никто не услышит, никто не проснется. И все-таки мы будем говорить, кричать до конца.

Проснитесь, опомнитесь. Чего вы так боитесь? Красной России? Красной Армии? России Красной нет, а есть только Россия русская, и вся она – против Красного Дьявола. Красной Армии нет, а есть только стадо обезумевших людей, которых Красный Дьявол гонит, как скот на убой, пулеметами в спину, и такими утонченными ужасами, что перед ними Инквизиция – шутка. О, если бы эти несчастные знали, что вы – против Красного Дьявола, как бы они кинулись к вам! Но по тому, что вы с Россией сделали и делаете, они этого знать не могут.

Шестнадцать генералов без дивизий – это хорошо; шестнадцать генералов с дивизиями – еще лучше. Но сейчас не в этом главное; главное – в вашей воле, в вашей решимости, в вашем мужестве, в вашем достоинстве.

Хотя бы в эту последнюю минуту, опомнитесь. Вы – дети великой матери: мать ваша – Европа, мать Свободы. И вы ее предадите во сне Красному Дьяволу-Поработителю?

Не думайте, что вы проснулись: если вы боитесь этого дьявола, – вы все еще спите, и он вас душит во сне, и если не проснетесь, – задушит.

Проснитесь же, скажите Красному Дьяволу: «Аминь, рассыпья!» И он рассыплется.

#### ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ[5]

– Посидели бы вы с нами в концентрационном лагере за колючей проволокой, узнали бы, как они нас любят! – говорят мне о поляках русские люди, солдаты и офицеры.

Что на это возразить? Какими словами? Колючая проволока убедительнее слов.

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Я – друг Польши. Друг должен говорить правду в глаза.

Сажать за колючую проволоку русских патриотов, единственных друзей Польши, всеми преданной, есть безумие и преступление – преступление перед Россией и перед Польшей. Те безумцы и преступники, которые это делают или делали, – враги Польши, изменники, друзья большевиков, их лучшие слуги, – пусть даже сами не ведают что творят.

Колючая проволока ныне снята? Жаль, что так поздно. Дай Бог, чтобы не слишком поздно!

Это безумие и преступление искупается ныне святою кровью, кровью лучших сынов Польши там, на полях сражений. И если только что воскресшая Польша снова будет распята, то колючая проволока, отделявшая Россию от Польши, будет терновым венцом на челе Распятой.

Я сказал правду полякам, скажу правду и русским.

Вы обижены – забудьте обиду – не прощайте, не надо прощать, прощение мстительно, а забудьте, забудьте так, как будто обиды вовсе не было.

Сколько дней просидели вы за колючей проволокой? Сто пятьдесят? А поляки – сто пятьдесят лет. Это если считать. Но не надо считать. Забудьте, не считая. Счет не в вашу пользу.

Поляки ненавидят русских? Они имеют право ненавидеть. Я иногда и сам ненавижу русских, ненавижу их за то, что они с Россией сделали. Я иногда и сам себя ненавижу за то, что я сделал с Россией. Да, я сделал. Мы все сделали. Мы все вместе виноваты. Не будем же считаться ни с чем. Счет не в нашу пользу.

А если не можете забыть, не считая, то ни минуты не медлите – ступайте, бегите под знамена Брусилова, Ленина и Троцкого. Убивайте Польшу, убивайте Россию. Но знайте: каждый удар ваш в сердце Польши – удар в сердце России, потому что у них сейчас одно сердце. И еще знайте: вы достойны вашей участи: родились и умрете рабами; никогда не узнаете, что такое Свобода и Отечество. Вы достойны того, чтобы гнали вас пулеметами сзади, как плетью скотов на убой.

Вы говорите, что я слишком люблю Польшу. Но кто любит и думает, как бы полюбить не слишком, тот совсем не любит. Я не знаю, как я люблю Польшу и как люблю Россию; я только знаю, что люблю их вместе и сейчас не могу разделить. Когда-нибудь потом опять смогу, но не сейчас, пока льется их общая кровь и венчает их общий терновый венец.

Да, помните, русские люди: колючая проволока, отделявшая некогда Россию от Польши – ныне их общий терновый венец. Кто ведает судьбы Господни? Может быть, русские, русские дьяволы пройдут по телу Польши так же, как прошли они вместе по телу России. Но если обе вместе будут распяты, то обе вместе и воскреснут. И на благо всему человечеству союз их вечный, венчанный венцом терновым.

ДВАЖДЫ ДВА – ЧЕТЫРЕ [6]

Вдохновенно твердить: дважды два четыре – какой изнурительный труд!

Что большевизм – гибель не только России, но и всего культурного человечества, для нас, русских, – дважды два четыре. Но в Европе этого никто не видит, не слышит, не знает, не хочет знать. Может быть, поляки знают лучше других, но все же не так, как мы. Знать, что чужая спина не может вынести десятипудовой тяжести – одно, а чувствовать, как собственная спина под тяжестью ломится – совсем другое.

Если большевизм – болезнь только русская, а не всемирная, то, отразив нападение советских полчищ и заключив почетный мир, Польша может спасти себя и Европу, сделаться оплотом от нового нашествия варваров. Но если дважды два не пять, а четыре, то ни для Польши, ни для Европы нет мира, пока есть большевизм. Быть ему – им не быть, и наоборот.

Волей-неволей Польша с Россией связаны, как близнецы – друзья или враги неразлучные. Если Россия – труп, то как жить Польше рядом с тлеющим трупом?

Вырыть могилу, похоронить труп? Нет, слишком велик: как бы и себя не похоронить вместе с Россией?

Да, быть большевизму – Польше не быть: для нас это «ясно, как простая гамма». Для нас, русских, но не для Польши, не для Европы. Пока собственные кости не затрещат, хруст чужих костей неубедителен.

– Так что же нам, полякам, делать?

– Свергнуть большевиков.

– Легко сказать! Ведь это значит – поход на Москву?

– Не бойтесь, до Москвы не дойдете. Только поймите, что большевизм – не тело России, а нарыв на теле: один укол иглы – и лопнет нарыв; поймите, что большевизм – наш с вами общий враг. Только подымите знамя: за вольность нашу и вашу – но подымите так, чтобы вся Россия видела, – и красная армия растает, как лед под солнцем, огромные глыбы, обвалы начнут от нее отпадать, переходя на вашу – нашу сторону, так что скоро вы не различите, где вы, где мы, вся Россия встанет и пойдет на Москву. Не верите?

– Этому в Польше никто не поверит.

– Не спасетесь, пока не поверите.

Разговор шел полгода назад, – и вот сейчас после страшного опыта летней кампании, после чуда над Вислой, я могу только повторить то, что тогда говорил. Ужели и теперь, как тогда, никто не поверит?

Военная газета «Фронт» сообщает из Седлеца:

«Недавно 114 поляков, взятые большевиками в плен, привели 800 большевистских солдат, которые, с оружием в руках, добровольно сдались. Одних от других трудно было различить, так как одежду с польских солдат собрали большевики, а поляки, оплачивая тем же, отобрали шинели у большевиков. Весь транспорт пешком ушел в направлении к Седлецу».

Удивительно. И всего удивительнее, что этого никто не видит, не слышит, не знает, не хочет знать. А ведь это то самое, о чем мы и говорим вот уже полгода, – то самое, но слепое, глухое, немое, темное, – без знания, без знака, без знамени. Поляки и русские вместе, так что «одних от других различить трудно». Хаос, в котором может погибнуть или из которого может возникнуть мир. Десятки, сотни тысяч русских, не красных, а просто русских людей, как овцы без пастыря, мечутся, между двумя огнями, пулеметами в спину и пулеметами в грудь, не зная, куда бежать. Ищут знания, знака, знамени – и не находят.

Но ведь эти десятки, сотни тысяч русских людей – сама Россия, не первая, царская, рабская и не вторая, большевистская, хамская, а третья, свободная, та, что должна идти на Москву, чтобы спасти себя, и Польшу, и Европу.

Горе Польше, горе Европе, если подымет русское знамя не Европа, не Польша, а Германия; если соберется под знаменем не третья Россия свободная, а первая, рабская, и вторая, хамская, – вместе, потому что они давно уже вместе, именно здесь, под русско-германским знаменем.

Неужели и сейчас этому в Польше никто не поверит?

Не спасетесь, пока не поверите.

Одно из двух: или поход Третьего Интернационала на Варшаву, на Париж, на Лондон, на всю Европу; или поход Третьей России на Москву.

ВСЕ ЭТО ЛЮБЯТ[7]

«– Послушайте, теперь вашего брата судят за то, что он отца убил, и все любят, что он отца убил.

– Любят, что отца убил?

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)

– Любят, все любят. Все говорят, что это ужасно, но про себя ужасно любят... Алеша, правда ли, что жида на Пасху детей крадут и режут?

– Не знаю.

– Вот у меня одна книга, я читала про какой-то где-то суд, и что жид четырехлетнему мальчику сначала все пальчики отрезал на обеих руках, а потом распял на стене, прибил гвоздями и потом на суде сказал, что мальчик умер скоро, через четыре часа. Эка скоро! Говорит: стонал, все стонал, а тот стоял и на него любовался. Это хорошо.

– Хорошо?

– Хорошо. Я иногда думаю, что я сама распяла. Он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот есть...» («Братья Карамазовы», разговор Алеши с Лизой).

Что это? Бред? Да, бред, но и действительность. Всемирно-историческая действительность наших дней – бред сумасшедшего.

Россия – распятая, большевизм распинающий, а Европа – невинная девочка, которая, любясь на муки распятого, ест ананасный компот. Все судят большевизм за то, что он «отца убил», и все это любят. Вот почему наши русские свидетельства перед Европой о большевистских ужасах так недействительны: от них ананасный компот только слаще.

– Oh, mes cheres petits bolcheviques! Mais pourquoi donc, monsieur leur voulez vous du mal? O, мои милые большевички. За что вы им зла желаете? – говорила мне одна светская дама.

Этим дамским лепетом полны салоны Парижа и Лондона.

Анатоль Франс – воплощенная душа современной Франции – тихий, добрый, мудрый старик, серебристо-седой, нежный, мягкий, пушистый, как одуванчик. И он – поклонник большевиков? И он на муки Распятой любитесь? Нет, ничего он не знает о них, и о себе самом уже не знает ничего, не понимает, где он, что с ним. Ураган войны и революции сорвал с одуванчика голову, и сухой стебель, былинка слабая по воле ветров во все стороны треплется. Он только знает, что «боги жаждут». Но выпитая кровь с него богами не взыщется.

Барбюс и Ромен Роллан – мягкотелые соглашатели, благородные шулера игры дьявольской, расторопные лакеи кровавой пошлости, утонченные Максимы Горькие – те кое-что знают, но не хотят знать: зажмурив глаза, едят «ананасный компот». С кого другого, а уж с них-то кровь взыщется.

Должно оговориться: поэзия – не политика, созерцание – не действие Франции. Тут противоположность трагическая, но не безысходная. Для того-то и совершается трагедия, чтобы найти исход.

Поэзия Франции отрицается ее политикой, созерцание – действием с такою силою, что есть надежда, что Франция спасет не только себя, но и всю Европу.

О Польше и говорить нечего: слишком ясно, что вся поэзия и вся политика, созерцание и действие Польши – в борьбе на жизнь и смерть с большевистским дьяволом.

Но, кроме Польши и Франции, можно сказать обо всей остальной Европе, что в поэзии, то и в политике, и даже здесь еще в большей степени, чем там. Вот где «все это любят»!

Роман Ллойд Джорджа с большевиками тем непристойнее, что происходит в Англии – классической стране «благопристойности».

Большевизм и Европа – молодой негодяй и старая влюбленная распутница: он может с ней делать все, что угодно – ей это нравится. Она говорит, что «это ужасно», но про себя ужасно любит. «Милые большевики, шалуны, проказники!»

Страшны не победные красные полчища, не похабный мир с советским правительством, не признание его великими державами; страшно это тихое просачивание большевистского яда в самое сердце Европы.

Кажется иногда, что «нравственное помешательство», *moral insanity*, овладело всем человечеством и что внезапный «Демон Превратности» внушает ему восторг саморазрушения. Кажется иногда, что «бесы» вошли не только в русский народ, но и во все человечество, и стремят его как стадо свиней, с крутизны в море.

Да, страшно, но не надо терять надежды, что Исцеливший одного бесноватого исцелит и все человечество. Надо помнить, что наглость большевиков равна их трусости: молодец на овец, а на молодца и сама овца. После Божьего чуда под Вислой есть надежда, что молодец скоро явится, и тогда большевизм превратится в овцу.

Только бы понял он, что не все это любят!

СМЫСЛ ВОЙНЫ[8]

Когда наш друг идет по узенькой дощечке над пропастью, мы не должны кричать: «Берегись, упадешь!» Наш крик может погубить: испугавшись, он сделает неверный шаг и упадет.

Когда Польша недавно шла над пропастью, мы с замирающим сердцем следили за ней молча и только молились: сохрани ее Господь. И молитва наша услышана, Польша спасена.

Теперь можно и должно говорить о миновавшей опасности, о неверных шагах, роковых ошибках, которые довели Польшу до края пропасти и едва не погубили. Ведь если она спасена, то чудом. В чудо надо верить, но нельзя чудес требовать, искушать Бога.

Кажется, главная ошибка теперь ясна для многих – о, если бы для всех в Польше! Ошибка эта – вовсе не поход на Украину, как внешнее стратегическое действие, но внутренний политический смысл, который придан был этому походу, а через него и всей войне, наиболее значительной и влиятельной частью Польского общества.

Надо сказать правду: с самого начала войны, политический, национальный и всемирный смысл ее был неясен. С кем Польша воюет: с большевиками или с Россией?

Для нас, русских, ответ был лучезарно ясен. Если большевики – злейшие враги, убийцы России, то война с ними – война не с Россией. Ни одной минуты не сомневались мы, что в сердце польского народа ответ так же ясен. Но в сознании польского общества ясности не было: тут смысл войны мерцал и двоился. Вот эта-то роковая двусмысленность едва не погубила Польшу.

Ошибки преуменьшать не следует. Корнями своими уходит она очень глубоко, повторяю, не в сердце, не в воле польского народа, а в сознании польского общества, или некоторой части его.

Россия – враг Польши, исконный, вековечный и непримиримый, – одинаково, как Россия первая, царская, так и вторая, большевистская, а третьей России нет и не будет. Сейчас нет России: там, где она была, – пустое место, черная яма, бездонный хаос. России нет – и благо Польше. Гибель России – спасение Польши; ничтожество России – величие Польши.

Может быть, никто этого не сознает и не высказывает так отчетливо, как я сейчас делаю; но не связанная, не сознательная ошибка еще непоправимее: скрытый яд сильнее действует.

Стоит ли доказывать, что воля к небытию России для Польши преступна и безумна, самоубийственна? Стоит ли доказывать логикой мышления то, что логикой бытия уже доказано? Вот, когда можно сказать: не рой другому яму – сам в нее упадешь. Не Польша, а кто-то за Польшу рыл яму России, и Польша едва в нее не упала. В одну яму едва не упала, начнет ли рыть другую?

Впрочем, воля к небытию России – ошибка не одной только Польши. После мира с Германией, нелепого и недействительного, вся европейская политика на этой воле основана. Европа захотела устроиться так, как будто России нет. И недурно устроилась. Дом, основанный на землетрясении. Кажется, скоро ясно будет для всех, что яма, вырытая для России – могила Европы. Может быть,



Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
никогда еще не была так велика Россия, как сейчас, в своем падении; никогда еще так не учитывали вес России на весах всемирно-исторических. Если вся Европа окажется скоро на краю гибели, то это потому, что земная ось сдвинута тяжестью России «несуществующей».

Польша к России ближе, чем Европа. Польше виднее. Искупит ли она теперь, после Божьего чуда под Вислой, ошибку Европы, или повторит свою собственную ошибку? Поймет ли, что убийство России – самоубийство Польши? Божье чудо откроет ли Польше глаза или потухнет во тьме, только ослепив, как молния?

Скоро Польше придется ответить на этот вопрос не словом, а делом.

Маршал Пилсудский в недавней беседе с одним журналистом поставил тот же вопрос с неотразимой ясностью.

Остаться на призрачной границе этнографической Польши, «линии Керзона» и заключить мир с Советским правительством; или переступить за эту границу, вести войну до конца свержения Советского правительства и мира с освобожденной Россией? Польскому обществу предстоит сделать выбор между этими двумя решениями, и сделать его как можно скорее.

Но для того, чтобы сделать выбор между войной и миром, надо, чтобы смысл войны был ясен. Горе Польше, если в конце войны, в мире, так же, как в начале, этот смысл мерцает, двоится, если война все еще двусмысленна: то с большевиками, то с Россией.

Трагедия Польши заключается в том, что она не свободна в выборе. Тысячи рук тянутся к ней; тысячи голосов оглушают ее: «Мирись пока не поздно. А если не хочешь мириться, значит, ты банда империалистов, захватчиков, хищников. Погибай – туда тебе и дорога».

Чьи это руки? Чьи голоса? Друзей или врагов? Если смысл войны ясен, то ответ прост. Большевики – враги России; мир с ними – с нею война; с нею мир – война с ними.

Мира с большевиками могут требовать только враги России.

Да, прост и легок ответ на словах, – но на деле как труден! Война – дело. Смысл войны нельзя объяснить никакими словами: надо его сделать ясным. Сколько бы ни уверяла Польша, что воюет с большевиками, а не с Россией, – никто не поверит, пока Польша чего-то не сделает.

Освободить Россию может только сама Россия; русские знамя могут поднять только русские руки. Доходить до Москвы, чтобы свергнуть Советское правительство, может быть, и не надо; но надо идти на Москву. Если Польша без России пойдет на Москву, то, едва переступит она за призрачную границу свою, «линию Керзона», как черта эта делается для нее чертой смерти. В Россию Польша одна войти не может, – может только с Россией.

Это значит: с польскими знаменами должно соединиться русское; русское войско с польским. Тогда смысл войны будет ясен уже не на словах, а на деле.

Если есть начало русского войска в Польше, – хоть бы малое, то пусть оно не будет тайным. Пусть оно будет явным. И пусть благословит Польша русское знамя: за нашу и вашу свободу. Пусть скажет Польша русскому войску: на вашего и нашего врага – с Богом.

ТРОЙНАЯ ЛОЖЬ [9]

«Ваш отец – диавол. Он был человекоубийца от начала – лжец и отец лжи».

Истина людей соединяет, потому что истина для всех одна. Люди любят друга в истине. Ложь разъединяет, потому что ложь многообразна и бесчисленна. Люди во лжи ненавидят друг друга. Предел разъединения – предел ненависти – человекоубийства. Кто начинает ложью – кончает убийством.

Большевики – сыны диавола, лжецы и человекоубийцы от начала. Лгут и убивают, убивают и лгут. Покрывают ложь убийством, убийство – ложью. Чем больше лгут, тем больше убивают. Бесконечная ложь – человекоубийство бесконечное.

От начала солгали: «Мир, хлеб, свобода». И вот – война, голод, рабство. Такое рабство, такой голод, такая война, каких еще никогда на земле не бывало.

Лгут о русской и всемирной революции – освобождении русском и всемирном, а свободу называют «буржуазным предрассудком» (Ленин). Но если надо буржуазные предрассудки уничтожить, то надо уничтожить и свободу. Большевики это и делают: убивают свободу и покрывают убийство ложью. Лгут, что убивают свободу только «на время», пока не восторжествует коммунизм – равенство. Но нельзя убить свободу на время. Убитая свобода не воскресает, пока живы свободоубийцы. Пока жив большевизм, – свобода мертва; когда он умрет, – она воскреснет.

Да, воистину, такого рабства никогда еще на земле не бывало. Доныне всякое человеческое насилие, порабощение было только частичным, условным и относительным, именно потому, что было только человеческим. Всякий поработитель знал, что делает зло. Большевики этого не знают. Так извратили понятия, что зло считают добром, добро – злом «по совести», по своей нечеловеческой, дьявольской совести. И впервые на земле явилось рабство безграничное, абсолютное, нечеловеческое, дьявольское.

Лгут и о хлебе. Не хлеб им нужен, а голод. Не борются с голодом, а голодом держатся: вся власть их зиждется на голоде. По дьявольскому чуду не хлебом сыты, а голодом. Давно уже поняли, что сытый народ бунтует, ищет свободы; а голодный – покоряется; чем голоднее, тем покорнее. Давно уже поняли, что цепь голода – из всех цепей крепчайшая. Все человеческие страхи мгновенны и частны по сравнению со страхом голода, общим и вечным. Огнем и железом пытается один человек, а человеческие множества – «массы» – голодом. Много смертей человеческих; у каждого человека своя; но голодная смерть для всех одна. Когда и мать – земля не родит, то человек – сын, проклятый матерью. Проклятье земли – тягчайшее.

Плод полей и грозды сладки  
Не блистают на пирах,  
Лишь дымятся тел остатки  
На кровавых алтарях.

Так сейчас в России, так будет и во всей Европе, если пройдет по ней большевизм. Где конь этот ступит копытом, там трава не растет; где саранча эта сядет на землю, там уже ни былинки, ни колоса. Съели Россию – съедят и Европу, весь мир съедят. Вот для чего идут с Востока на Запад красные полчища. Не Троцкий ведет их, а полководец иной – апокалипсический всадник на черном коне с черным знаменьем – Голод. И пулеметного огня в спину не нужно, когда гонит людей страх голода: если позади смерть, а впереди хлеб, то люди идут вперед и пройдут весь мир – не остановятся. Вот в чем тайна красных «побед», этих чудес дьявольских. Большевики и это давно уже поняли. Как победили Россию, так победят весь мир голодом. Исполнилось над нами слово пророка: «Умерщвляемые мечом счастливей умерщвляемых голодом. Руки мягкосердных жен варят детей своих, чтобы они были им пищею. Кожа наша почернела, как печь, от жгучего голода». Погодите, народы Европы, слово это и над вами исполнится: если не обратитесь и не покаитесь, – будет и у вас царство голода – царство дьявола.

Лгут о хлебе, лгут о свободе, но больше всего лгут о мире.

Мира жаждет ныне человечество, как умирающий от жажды жаждет воды. Но мира нет, и сейчас меньше чем когда-либо можно надеяться, что будет мир. На востоке Европы все еще бушует война; на западе буря как будто утихла, но страшная мертвая зыбь войны уносит полуразбитый корабль Европы в океан безбрежный, к новой буре, крушению новому, последнему. Как умирающий от жажды в пустыне, плетется человечество к источнику мира, а большевики забегают вперед, отравляют воду в источнике. Уже отравили, осквернили, сделали мир «похабным» для России и хотят сделать то же для всего человечества. Много у них грехов, но это – тягчайший. Вот за что им камень жерновый на шею, – за осквернение мира.

Говорят: все войны кончатся и будет мир всего мира только тогда, когда внешняя война международная сделается внутренней войной междоусобной, переродится в так называемую «борьбу классов».

Вот где этими сынами дьявола, лжеца и человекоубийцы изначального, ложь и

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
человекоубийства сплетены в крепчайший узел дьявольский.

Идея «классовой борьбы», как основной динамики социальной революции, открыта не ими; вообще никаких идей не открыли они, – безыдейность – одно из их главных свойств. Идея эта принадлежит тому, кого они считают своим пророком и учителем, Карлу Марксу. «В большевизме Маркс неповинен; Марксовы кости в гробу перевернулись бы, если бы он узнал, что большевики с ним делают». Утверждение это, ныне столь ходкое, следует принимать cum grano salis. [10]

Именно эта идея классовой борьбы – вплоть до всемирной войны междоусобной, поглощающей все войны международные, – идея классовой борьбы, в качестве единственно желанной и действительной революционной динамики, связывает большевизм с марксизмом как пуповина связывает младенца с утробой матери. Именно по этой идее видно, что недалеко большевистские яблочки от яблони марксистской падают.

Хороша или дурна идея классовой борьбы, благородна или презренна, – мы, живые люди, участники борьбы, палачи или жертвы, кое-что знаем о ней, чего Маркс не знал, что и не снилось всем мудрецам социал-демократии. У них идея эта была только в уме; у нас – в крови и в костях: кровь наша льется и кости трещат от нее.

Мы знаем, что война междоусобная в неизмеримо-большей степени есть «война на истребление», чем все войны международные, и что это – война бесконечная. Конец ее – взаимоистребление классов – еще ужаснее, чем взаимоистребление народов. Французы могли бы истребить немцев и желтая раса – белую, потому что тут враг видит врага в лицо, может отличить от друга. Но как отличить буржуа от пролетария? Маркс думал, что это легко. Мы теперь знаем, как трудно.

Два класса – не только два существа экономических, два тела, как думал Маркс, но и два духа. Класс на класс – дух на дух. Борьба двух начал духовных – антиномий метафизических – есть борьба безысходная, бесконечная. Тело истребить можно; но как истребить дух? Дух буржуазный таится и в пролетариях. И эти «буржуи» новые хуже старых. Дух неуловим, неистребим. Бесконечна война русских чрезвычайцаек с буржуйным духом; какова же будет война чрезвычайцаек всемирных?

Да, по русской междоусобной войне можно судить о всемирной. Война междоусобная на международную – братоубийство на человекоубийство, огонь на огонь, больший на меньший. В войне международной – жар горящего дерева, в междоусобной – жар железа, раскаленного добела. В международной войне – люди – звери, в междоусобной – дьяволы.

Такова тройная ложь большевиков – «мир, хлеб, свобода» – бесконечный голод, бесконечное рабство, бесконечная война – тройное царство дьявола.

Ежели будет и во всем мире то же, что в России, то наступят те дни, о которых сказано: «Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни».

Избранные – все, кто с сынами дьявола борется. Пусть же каждый из борцов помнит, что он борется не только за свое отечество, но и за весь мир, и что он самим Богом избран.

Большевиков, сынов дьявола, мы не победим иначе, как с Богом.

О ЧЕРТЕ, ЧЕСТНОСТИ И РАВЕНСТВЕ ответ читателю [11]

По поводу моей статьи «Тройная ложь» один из читателей предлагает мне три вопроса.

Первый: «В шутку или серьезно назвали вы большевиков сынами дьявола? Если в шутку, то не грешно ли смущать умы и без того уже смущенные подобными шутками? А если серьезно, то неужели вы, образованный человек XX века, верите в дьявола? И в какого же именно? Не в христианского ли черта с хвостом и рогами?»

Второй: «Неужели считаете вы всех большевиков сплошь негодяями? Нет ли

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
между ними и честных людей, даже святых? Читали вы статью Максима Горького о Ленине?»

Третий: «Не полагаете ли вы, что и у большевиков есть правда – идея равенства?»

На каждый из этих трех вопросов можно бы ответить целую книгу. Но я постараюсь быть кратким.

Первый вопрос о «черте» кажется довольно ядовитым, но маленьким. Легко увильнуть от жала его, ответив с такою же лукавою легкостью и плоскостью, с какой он поставлен: «Да, виноват, пошутил». Но, если отвечать искренне, то вопрос бездонно углубляется.

Я хорошо понимаю, как стыдно «образованному человеку XX века» верить в черта. Ведь нынче не только образованные и умные люди, но и невежды и дураки ни в Бога, ни в черта не верят.

Ведь даже сам «образованный» лакей Смердяков знал, что в Священном Писании «про неправду все писано» – Смердяков знал это вместе с Вольтером, Марксом и Лениным.

Верить в Бога – еще с полгоря, полстыд; но в черта – это уж стыд окончательный. Да, все это я хорошо понимаю. Но делать нечего, беру на себя весь стыд. Говорю прямо и просто: верю в черта. Верю в него наперекор Вольтеру, Марксу, и Ленину, и Смердякову, вместе со смиренной старушкой, смиренно верующей – *sancta simplicitas*[12] – и с великим математиком Паскалем, и с великим реалистом здешних и нездешних реальностей, Достоевским, и с тем, кто до создания мира «видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Верю в него не только «гремящего и блистающего», «сына денницы», «Светоносного», Люцифера, некогда любимого первенца творения, но и в современного «маленького бесенка с насморком», и даже в самого обыкновенного «черта с хвостом, вот как у датской собаки», который мучил в кошмаре Ивана Федоровича Карамазова. Верю в черта и не очень стыжусь, потому что смею думать, что Паскаль и Достоевский заглядывали в такие бездны отрицания и сомнения, какие и не снились не только Смердякову, но и самому Ленину.

Что такое «диавол»? Абсолютное Зло, реализованное в абсолютной Личности. Если вообще личность – только эмпирическое явление, такое же, как пламя на горящей свече, – задули свечу и пламя потухло, или как пузырьку на воде – вскопчил пузырь и лопнул, – тогда, разумеется, не может быть и вопроса о существовании диавола. Но тогда не может быть вопроса и о существовании личного Бога. Тогда правы те, кто ни в Бога ни в черта не верит. Если же личность есть нечто большее, чем – пламя на свечке, – пузырь на воде, – если корнями своими прикасается личность к «мирам иным», то нельзя обойти вопроса о реализации абсолютного Блага и абсолютного Зла в личности, о существовании личного Бога и диавола.

Но вопрос о метафизическом существе личности решается не первобытным и невежественным ленино-смердяковским здравым смыслом: «про неправду все писано», а сложнейшей и тончайшей системой человеческого мышления, восходящей от кантовской «Критики чистого разума» до современной гносеологии (науки о познании. См. особенно, «Творческую эволюцию» Бергсона). По этой системе оба утверждения: «личность только явление» и «личность больше чем явление» – одинаково недоказуемы. Вопрос о метафизическом существе личности – вопрос не научного, а религиозного знания, – веры, т. е., в последнем счете, воли. Я могу хотеть личности или безличности; могу хотеть быть лопающимся пузырем на воде или чем-то большим, но в обоих случаях я остаюсь на одном и том же культурном уровне. И даже смею опять-таки думать, что, утверждая личность, как абсолютную, божественную ценность, я имею за себя большую глубину культуры, если не современной, то вечной, нежели в противном случае, утверждал безличность.

О, я понимаю, как страшно о десятках, сотнях тысяч людей сказать, не шутя, веря в реальное существование диавола: «Все это сыны диавола!» Но как это ни страшно, я именно так говорю. Так же говорил это и Достоевский в «Бесах».

Что такое «бесноватость»? Для научного знания – душевная болезнь. Могут ли ею заболеть не только отдельные люди, но и целые народы? Мы видим, что

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
могут. Для знания религиозного бесноватость – больше, чем душевная болезнь; это – реальная одержимость диаволом, предельное воплощение, реализация Абсолютного Зла в человеческой личности, не только в духе, но и в плоти. Человек становится воистину диаволом. Могут ли быть бесноватыми не только отдельные люди, но и целые народы? Мы видим, что могут.

Если богочеловечество – основной догмат христианства, то обратная сторона этого догмата – бесочеловечество. Можно отвергнуть все христианство, вместе с его основным догматом; но, приняв одну сторону его, надо принять и другую.

Таков ужасающий религиозный смысл моего утверждения, от которого я не отрекаюсь: «Большевики – сыны диавола».

Этим ответом на первый вопрос я уже отчасти ответил и на второй: все ли большевики негодяи? Нет ли между ними честных людей, даже святых?

Честных и святых нет; а есть как будто честные и как будто святые. Но эти еще хуже негодяев: чем лучше, тем хуже.

Разумеется, и честный человек может сойти с ума и сделаться зверем, диаволом или идиотом, «юродивым», даже как будто «святым». Но в сумасшествии уже нет человека; человек был и, может быть, снова будет, когда выздоровеет, но сейчас его нет.

Большевизм, как душевная болезнь, сумасшествие, не столько умственное, сколько нравственное – *moral insanity*[13] – и есть именно такой абсолютный провал человеческой личности, ее исчезновение абсолютное. В этом смысле истинных большевиков «честных» и «святых» не много. Но это – самые страшные, куда страшнее простых негодяев, бесчисленных.

Читал ли я статью Горького о Ленине? Читал. Но мне очень трудно говорить о ней, потому что очень скучно. Тут не с чем соглашаться или спорить, потому что тут нет никаких мыслей, а есть только верноподданические чувства, захлебывающийся восторг перед неземным «планетарным» (любимое словечко Горького) величием Ленина. Писались оды Павлу I, оды Пугачеву, а вот и ода Ленину. Но пиит Тредьяковский, ползущий на коленях от порога двери к трону императрицы Анны Иоанновны, с одой в руках, – образец человеческого достоинства по сравнению с Горьким, воспевающим Ленина. Никакого возмущения я не испытывал, читая это возвеличение презренного, хвалу ничтожному. Да, ничтожному. Ибо дух зла воплотился в Ленине – о, еще не последний, а только очень средний! – но все же подлинный; а дух зла есть дух небытия, ничтожества. Имя «великого» Ленина остается в памяти человечества вместе с именами Атиллы, Нерона, Калигулы и даже самого Иуды Предателя. Но горе человечеству, если оно не сумеет презреть такое «величие». Буржуи поклонялись всяким великим ничтожествам, но все же не таким. До какого унижения, до какого нравственного сумасшествия, – *moral insanity* – должен был дойти всемирный пролетариат, чтобы превзойти буржуев и поклониться «планетарному» величию Ленина!

И напрасно старается Горький оправдать своего героя, сделать его «святым», очистить и убелить паче снега от того океана грязи и крови, которым затопил Ленин Россию, и хотел бы затопить весь мир. Не убелит его, а только сам утонет в грязи и в крови: с головы Ленина на голову Горького падет вся эта грязь и кровь.

Нет, повторяю, никакого возмущения я не испытывал, читая статью, а только отвращение и скуку, смертную, неземную, «планетарную» скуку, и жалость к Горькому. Бедный! Что с ним сделалось? Неужели этот ползущий на коленях Тредьяковский – тот гордый титан – босяк – «человек это гордо!» – который воспевал «безумство храбрых». Безумство храбрых он и теперь воспекает, но в ком? В Ленине, благоразумнейшем из благоразумных, исполинском Чичикове, Лавочнике мертвых душ, постукивающим вместо счетных костяшек на костях человеческих: «Социализм есть учет».

Нет, не могу говорить об этом серьезно: умру от скуки. От скуки смертной смехом надо спасаться.

Так как я заговорил уже о бесе и бесах, то приведу одну черточку из средневекового «бесоведения» демонологии: маленькие бесенята чувствительны, плачут и смеются; но сам великий бес бесчувствен: никогда не смеется, не

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
плачет, – а только зевает от скуки. И не любит соли. Вот почему на шабаше ведьм, в бесовских пиршествах, запрещена соль: все блюда – пресные, как сам Хозяин. Говорят, вкус человеческого мяса сладковато-тошен, пресен. Слышал ли об этом Горький, скупающий драгоценные японские вещицы с порнографическими альбомами (вот до чего люди доходят от скуки!) на тех самых петербургских рынках, где продается нынче «китайское мясо» – человечина вместо телятины?

Читая статью Горького о Ленине, я как будто слышал издали страшную зевоту скучающего беса, и в душе моей был сладковато-тошный, пресный вкус человечины. Третий вопрос о большевистском «равенстве» – самый трудный и сложный, требующий ответа, наиболее пространныго, но мой ответ будет наиболее кратким. Того, кто слеп, потому что не хочет видеть, не исцелят от слепоты никакие ответы, даже самые пространные.

Слепой, не видящий красного цвета, – не увидит и белого; кто не знает Свободы, – не узнает и Равенства. Равенство в рабстве, в смерти, в безличности – в аракеевской казарме, в пчелином улье и в братской могиле, где труп равен трупу, так что не различишь, – и равенство в личности, в жизни, в свободе, в революции – не одно и то же. Как соединить революционную Свободу с революционным Равенством, – в этом, конечно, весь вопрос. Большевики не только не разрешили его, но и не поставили; прошли мимо, не подозревая, что тут есть вопрос. Умно и преступно или идиотски невинно, «свято» утверждают они равенство на свободоубийстве и братоубийстве. Но, убивая Братство, убивая Свободу, убивают и Равенство. Свобода – мать Равенства. А большевики, как садисты-разбойники, вырезают нерожденного младенца – Равенство – из чрева матери-Свободы.

Извиняюсь перед читателем за слишком краткий ответ, а перед читателями – за ответ, может быть, слишком пространный.

Реальнейшие события неизмеримой важности теснятся так стремительно, что останавливаться долго на отвлеченных вопросах некогда. Но и проходить мимо, не останавливаясь, молчать нельзя. Наши враги не молчат об отвлеченных вопросах, и в этом их сила, их оружие.

Надо вырвать его из их рук.

ТРЕХЛЕТИЕ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ТИРАНИИ В РОССИИ Вечная память погибшим в борьбе против тиранов [14]

К трехлетию большевизма:

Наша анкета:

- 1) В чем сила большевиков?
- 2) Почему они сумели удержаться у власти 3 года?
- 3) Какие причины укрепили их власть и положение?

Д. С. Мережковский:

1) Сила большевиков, во-первых, – в нашей слабости; а во-вторых, – в сатанинском искажении трех великих идей: идеи общности (социализма), идеи равенства, идеи всемирности. Большевистское искажение этих трех идей заключается в том, что у них общность без личности, равенство без свободы, всемирность без отечества. А истинная задача, поставленная человечеству Богом, но разрешаемая у большевиков дьяволом, заключается в том, чтобы соединить общность с личностью, равенство со свободой, всемирность с отечеством.

2) Большевики сумели удержаться у власти три года, во-первых, потому, что мы, русские, усиливали их нашей слабостью, а во-вторых, потому, что их поддерживала вся Европа мнимым «невмешательством», действительным вмешательством в русские дела, в пользу большевиков. Особенно поддерживала их сначала Германия, чтобы уничтожить военную мощь России, а затем – Англия, чтобы превратить Россию в колонию.

3) Власть большевиков укрепила, во-первых, наша интеллигентская слабость, а во-вторых, невежество, дикость русского народа. Тысячу лет кланяться царю,

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
как Богу, и вдруг покончить с ним, как с Николаем II в Екатеринбурге покончили, – это всемирно историческая подлость. Мы можем, впрочем, утешаться тем, что русский народ оказался не хуже других народов. То, что они с ним делали и делают, стоит того, что он сделал сам с собою. С него взыскалось – взыщется и с них. «Дочь Вавилона, опустошительница! Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам! Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!» Не мы, а сами они это сделают, сами себе за нас отомстят. Во всяком случае, то, что сейчас Европа делает с Россией, – не прощаемо.

СТУК[15]

Генерал Людендорф обратился с меморандумом к правительствам, английскому и французскому. Кажется, есть в меморандуме и скрытый ультиматум и даже попросту шантаж, правда, довольно невинный. Ведь петля на шее великого народа затянута; как же обвинять его в том, что он не хочет задохнуться, сбрасывает петлю с шеи?

Генерал Людендорф в своем меморандуме излагает все положения западно-восточных дел с неотразимой ясностью. Одно из двух: или произойдет интервенция, военное вмешательство Антанты, в союзе с Германией, не в русские, а в интернациональные большевистские дела; миллионное германское войско двинется на восток, чтобы свергнуть советскую власть; или к уже недалекому таянию снегов большевистское половодье прорвет польскую плотину и захлестнет Европу.

Наконец-то прозвучал внятный голос среди нечеловеческого бормотанья и мямления. И даже если это «шантаж», «подлость», то каково же «благородство» тех, кто довел Европу до того, что ей нет иного спасения, кроме подлости?

Меморандум Людендорфа – с одной стороны, а с другой – отъезд Красина из Лондона в Москву. По газетам, отъезд не имеет никакого значения: слетает будто бы Красин в Москву, пошутукается с Лениным и вернется в Лондон; а торговый договор все-таки заключен будет, и будет признана советская власть в ближайшие дни.

Так по газетам, а по слухам не так. И, кажется, наступает время, когда слухи вернее газет. По слухам, Красин уедет навсегда; и сколько бы не шушукался с Лениным, ничего из этого не выйдет: переговоры о торговых сношениях окончательно прерваны, и советское правительство не только «в ближайшие дни», но и никогда не будет признано. Во всей европейской политике произошел или должен произойти глубокий сдвиг слева направо.

Так ли?

Если тончайшая нить, хотя бы подобная тем паутинкам, реющим в прозрачном осеннем воздухе, которые называются «ниточками Пресвятой Девы», – если такая почти невидимая, почти несуществующая нить связывает меморандум Людендорфа с отъездом товарища Красина, то это так, и мы сейчас находимся накануне великих событий. Тихими-тихими стопами подойдут они, подкрадутся, как тать в ночи.

Не из Европы, а из России. Что сейчас происходит в России? И происходит ли что-нибудь? Что-то уж слишком тихо там... Но об этом нельзя говорить – не надо: как бы не сглазить.

Одно можно сказать: 33 мудреца нашли-таки минуту утешить Ленина, выступить с резолюцией против интервенции!

Так, бывало, в Петербурге: заснешь в трескучий мороз, а поутру встанешь и ахнешь: все течет; дворники скребут и посыпают желтым песком тротуары скользкие.

Не так ли на европейском барометре невидимо дрогнет игла и за ночь передвинется с северо-восточной ясности на западную облачность?

Или еще так: солнце светит ярко, и философ Кант верит солнцу, а где-то на маленьком пальце левой ноги у философа ноет мозоль: глупая мозоль умнее Канта: солнцу не верит и знает, что будет дождь.

Никогда еще красное солнце так ярко не светило, как сейчас, после падения

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Врангеля. Но вот, в резолюции «33-х», умная ленинская мозоль к дождю не  
ноет ли?

Или еще так: человек ночью спит и вдруг просыпается сам не зная от чего.  
Тишина мертвая. Но проснувшийся ждет, что раздастся стук. И стук раздается.

За всю трехлетнюю большевистскую ночь такой тишины, как сейчас, никогда еще  
не бывало. Но мы проснулись и ждем, что сейчас раздастся стук; и даже  
знаем, что постучится кто-то в дверь, и что-то скажет, и это все решит.

Слышите стук?

ЧЕМ ЭТО КОНЧИТСЯ? Из дневника – февраль 1921 г. – Накануне кронштадтского  
восстания [16]

«На свете никогда ничего не кончается», – говорит у Достоевского русский  
нигилист. – «Идет ветер к югу, и переходит к северу; кружится, кружится на  
ходу своем, и возвращается ветер на круги свои», – говорит Екклесиаст. Все  
возвращается, повторяется. Все бесконечно, безысходно, бесцельно,  
бессмысленно.

Помните, как в «Путешествии на луну» Жюль Верна летящие в ядре выкинули  
тело издохшей собаки и оно завертелось вокруг ядра вечным спутником?

Остов разложившейся собаки  
Ходит вокруг летящего ядра.  
Долго ли терпеть мне эти знаки?  
Кончится ли подлая игра?  
Все противно в них: соединенье,  
И согласный, соразмерный ход,  
И собаки тлеющей кручение,  
И ядра бессмысленный полет.  
Кажется, сейчас Европа решила именно так: бывшая Россия, шестая часть  
планеты Земли, оторвавшись от нее, завертелась бессмысленным спутником.

Если б мог собачий труд остаться,  
Ярко-пламенным столбом сгореть!  
Если б одному ядру умчаться,  
Одному свободно умереть!  
Но в мирах надзвездных нет событий;  
Все летит, летит безвольный ком.  
И крепки все временные нити:  
Песий труп вертится за ядром.  
Помните ужасное видение Свидригайлова о загробной вечности: закоптелая,  
низенькая деревенская баня с пауками во всех углах, – «вот вам и вся  
вечность!»

Главная воля большевиков есть воля к этой паучьей бане, к верчению трупа  
собачьего, к «дурной бесконечности».

«Царствию нашему не будет конца» – апокалипсическая надпись эта появилась в  
«Правде», только что большевики поняли, что Юденич от Петербурга откатится.  
И при отступлении Колчака, Деникина, при начале рижских переговоров, при  
падении Врангеля, возносился тот же клик торжествующий: Царствию нашему не  
будет конца.

Надо отдать справедливость «буржуйной» Европе: большевикам служит она не за  
страх, а за совесть; все что от нее зависит, делает, чтобы им помочь в воле  
к дурной бесконечности.

«Конца не надо; лучше бесконечный ужас, чем ужасный конец», – согласились  
большевики с буржуями. Вот это-то согласие, «соглашательство» и положил в  
основу свою буржуйно-большевистский заговор, – и уже договор явный.

О возможном конце большевизма, о России бывшей и будущей никто не заикнулся  
на последних Парижской и Лондонской конференциях великих держав. В стенке  
ядра, на луну летящего, открыли путешественники форточку, выглянули: все  
еще собачий труп вертится – и тотчас же форточку захлопнули: «Ну и черт с  
ним, пусть вертится!»

Если прав Свидригайлов, – мир есть неподвижная бессмыслица, – то плохо дело



Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
России: ужас большевизма никогда не кончится. Но, если мир движется к  
смыслу, то плохо дело большевиков: рано или поздно, бесконечный ужас  
кончится концом ужасным.

Европе надо было ответить на вопрос: быть или не быть России; Европа  
ответила: не быть. Европе надо было сделать выбор – уничтожить большевизм в  
России или уничтожить большевизмом Россию; Европа выбрала последнее.

Россия уничтожена; Россия слаба безмерною слабостью? Да, но и сильна силою  
безмерною. Это – сила падающей тяжести. Какова тяжесть, такова и сила  
падения. Исполинское здание рушится, и на кого она упадет, того раздавит.  
Шестая часть планеты Земли, оторвавшись от нее, вокруг Земного шара  
вертится, и, если столкнется с ним, то столкновение будет всепокрушающим.

Хочет – не хочет Европа, столкновение произойдет. В «русские дела» не  
вмешалась Европа; Россия вмешается в дела европейские. Судеб России не  
решила Европа; судьбы Европы решит Россия.

Войны с Европой сейчас большевики не хотят; знают, что война для них  
гибель, мир – спасение. Но война или мир, – уже не от них зависит. Здание  
разрушили, но когда и куда оно упадет – сами не знают.

В одном расчет их верен: падающая Россия не минует Европы: упадет, нападет  
на нее всю свою тяжестью.

«В Рейне напьются воды кони красной конницы!» – еще в том году хвастал  
Троцкий. Не напились в том году, – не напьются ли в этом?

Последний бой красных с белыми не был дан в России, – будет дан в Европе. И  
если победят красные, горе Европе; но если победят и белые, то, может быть,  
горе еще больше! Никогда не забудет Россия, ни красная, ни белая, того,  
что с ней Европа сделала.

Или все еще не ясно, что уничтожение России – из всех безумий европейской  
политики самое безумное; что полтора миллиона людей, испытавших те  
нечеловеческие ужасы, которые ныне русские люди испытывают, оставят  
страшный след в истории?

Европа не пощадила России; Россия не пощадит Европы. Бич Божий опустится,  
месть совершится. Но отомстит не Россия, а Тот, кто избрал ее орудием  
отомщения: «Мне отмщение, и Аз воздам».

В неизбежном поединке с Россией, пусть помнит Европа, что Россия – не одна,  
что за нею – весь Восток, и что «свет с Востока» – может быть страшным  
светом смерти для Запада.

Когда быка ведут на убой, он мычит жалобно: чует смерть. А Европа не чует:  
идет на смерть немо, тупо, бессмысленно. Но если понять, как следует то,  
что сейчас происходит, то можно с ума сойти от медленно растущего  
нагнетения ужаса.

Большевизм – у ворот, как деревянный конь с данайцами. И никем не услышан  
воплъ Кассандры пророчицы: «Если конь войдет, пал Илион!»

Наш вопль не услышан никем. Но мы должны вопить до конца: европейцы,  
опомнитесь, или наше спасение будет вашей гибелью, – вот чем это кончится!

ИЗ ДНЕВНИКА 1 мая 1921 года[17]

Христос воскрес из мертвых,  
смертию смерть поправый  
и сущим во гробах  
живот даровавший!

Потрясающие слова, и даже не слова, только зов, крик, вопль, но такой, что  
нельзя повторить его без радости, подобной ужасу.

Все ненавидят, все убивают друг друга. Есть только смерть, и нет ничего  
кроме смерти. Смерть – действительность единственная. Но вот этот вопль:  
«Христос воскрес!» и вдруг иная разворачивается действительность. Темно  
сейчас на земле, кроваво, как еще никогда. Но какая бы тяжесть тьмы и крови  
не тяготела на мне, я знаю, что воистину воскрес, и это у меня никогда не

отнимется.

И еще знаю: никогда нигде этот вопль ужасающей радости не раздавался так, как сейчас в России.

«И непонятную тоскою уже загорелась земля; черствее и черствее становится жизнь; все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в Твоем мире! – Отчего же одному русскому еще кажется, что праздник этот празднуется, как следует и празднуется так в одной его земле? Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому другому, кроме русского?.. Лучше ли мы „других народов“? Ближе мы жизнью ко Христу, чем они? никого мы не лучше. Хуже мы всех прочих. Но есть в нашей душе то, что нам пророчит: у нас прежде, нежели во всякой другой земле, празднуется Светлое Воскресение Христово!»

Прав Гоголь. В эту Светлую ночь, мы русские изгнанники, припадая ухом к чужой земле, слышим из России доносящиеся «гулы всезвонных колоколов», и нигде этот праздник не праздновался так, как в России сейчас.

Случайно или не случайно, именно в этом году, самом страшном из всех наших годов и даже из трех последних, страшнейшем, совпали в России два праздника – 1-е мая, «красная пасха» Интернационала, грядущего большевизма всемирного, и Воскресение Христово, тоже «Пасха Красная», о которой в церковной песне поется. Два красных солнца – из крови восходящее солнце любви и заходящее в кровь.

Кто с кем борется в этих двух солнцах и за какие судьбы мира, это мы, русские, знаем, только мы одни, и никто кроме нас. Знание это купили мы ценою неимоверною и уже ни за какую цену его не продадим. И пусть «никого мы не лучше, а хуже всех»; пусть сейчас Россия – одна, как еще никогда никакой народ не был один, покинута, отвержена презренна, поругана, оплевана, терном венчана, пронзена, распята, – весь мир услышит некогда то, что мы сейчас говорим: воскреснет Россия, потому что Христос воскрес.

Париж

#### СТРАШНОЕ ПИСЬМО[18]

Я получил страшное письмо из России. Мы, русские, получаем оттуда много страшных писем, но такого еще никогда.

Что сказать о нем? Что прибавить? Нельзя говорить об этом. Нет слов. Слова могут только умалить несказанный ужас письма.

Несказанность и небывалость есть главный признак всего, что сейчас происходит в России. Такой скорби от начала мира не было, и таких слов не говорилось еще никогда. Будущий историк, если только у наших дней вообще будет история, если история мира уже не кончилась, – укажет на это письмо, как на памятник единственный, – страшнейшее из наших страшных дней.

Но прочтите сами и кто бы вы ни были великий или малый, счастливый или несчастный, добрый или злой, вы поймете почему я не могу говорить об этом.

Вот оно, это письмо.

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа да поможет Мир детям России. Мы, матери, обреченные на смерть этой зимой от голода, холода, от болезней, которых не сможем уже перенести от истощения, которых не выдержат наши переполненные мукой сердца, мы просим людей всего мира – взять отсюда наших детей, дабы не разделили они, ни в чем не повинные, нашей страшной участи. Дабы могли мы, хотя бы этой ценою, – добровольной и вечной разлуки с ними на земле, искупить вину нашу перед ними, дав им жизнь горше смерти. Все, кто имел детей и потерял их! Все, кто имеет и боится потерять их! Памятью, именем ваших детей призываем вас, да не останетесь глухи к нам, молящим вас за детей своих!

Избавьте нас от ужаса, от безумия видеть их погибающими и быть бессильными – уж не помочь, а хоть бы только облегчить их страдания.

Мир! Возьми наших детей! Возьми за пределы нашего ада, пока еще есть в них

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
сила расти и жить. Быть, как все дети, которые могут громко говорить об отцах и братьях, не боясь быть замученными за то, что они не дети палачей!.. Которые могут учиться!.. Есть ежедневно!

Мир Божий, вырви их из рук богоотступников и палачей! Сжальтесь над ними, не знающими ни единой радости, доступной ребенку последнего бедняка в других счастливых странах!

Что будет с ними, если мы, матери, погибнем раньше их, оставим их здесь одних...

О нас – не думайте. Нам для самих себя все – все равно. Для нас спасенья нет. Мы уже не мечтаем вырваться отсюда. Но мы будем счастливы единственным счастьем матерей, знающих, что их детям хорошо. Мы будем сыты каждым куском хлеба, который мысленными очами увидим в руках наших детей, когда они будут далеко отсюда. Мы будем согреты, зная, что они – в тепле. Мы уже ничего не будем бояться здесь, зная, что они – в безопасности. И сама смерть будет нам радостна, ибо мы верим, что души наши будут видеть, как они растут честными людьми, любящими Родину.

Вам, люди всего мира, завещаем мы нашу последнюю и единственную мольбу: придите за нашими детьми! Возьмите их отсюда скорей.

Каждый час отнимает силы. Голодные, раздетые, мы не вынесем холода.

Дети, счастливые дети счастливых стран! Просите и вы за наших детей!

Мы не смеем подписать наших имен. Мы не смеем даже написать в какой части несчастной России влачим мы наши дни, чтобы не навлечь гнева палачей. Но когда мы услышим, что мир послал за нашими детьми, мы приведем их вам, и никакая сила не удержит нас и не помешает нам.

Услышьте нас!»

Под письмом 44 креста вместо подписей. Начертаны они углем, карандашом, копотью, два чернилами и десять кровью.

Не могу говорить об этом письме. Не о нем скажу и не о том, что сейчас происходит в России, – в письме это несказанное сказано, – а о том, что происходит в Европе, в мире, и о чем никто не говорит. Пробудилась ли в мире совесть человеческая и страх Божий? Народы, государства, правительства поняли ли, наконец, что они сделали, что они делают не только с Россией, но и сами с собой, помогая палачам России? Не думаю. Если бы они это поняли, то Россия уже освободилась бы. Но, может быть, отдельные люди, одинокие личности, действительно, поняли и хотят спасти миллионы гибнущих русских людей, самих себя спасти, потому что гибель России есть гибель Европы, гибель мира. Вот этим то отдельным людям я говорю: вчитайтесь в письмо, как следует. Услышьте вопль русских матерей и вашей собственной матери, великой Матери Земли, вами поруганной, которая все еще носит вас, но устала носить. Услышьте и поймите этот вопль: «Мир, возьми наших детей! Возьми за пределы нашего ада! Вырви их из рук богоотступников и палачей!»

Слышите? Такой любви, такой скорби никогда еще не было в мире. И о чем молят матери? О хлебе для детей своих умирающих от голода? Нет, не о хлебе! Знают они так же хорошо, как знаем все мы, русские люди, до конца понявшие то, что сейчас происходит там в России, что нельзя спасти жертвы руками палачей, нельзя спасти убиваемых руками убийц, нельзя прекратить муки ада, оставляя мучимых в аду, нельзя согласиться с дьяволом.

Люди! Ведь есть же люди в мире, не все еще звери и дьяволы. Поймите, люди: не о хлебе просят для голодных детей своих русские матери, а о большем, – о том, чтобы взяли детей их из ада, вырвали из рук дьявола. Поймите: в России сейчас рабство и голод – одно и то же, одно и то же, свобода и хлеб. Сколько бы ни посылали вы хлеба голодным, – вы не накормите их, а только усилите голод – и спасете не жертву, а палачей, не развяжете петлю, а затянете. Поднести хлеб ко рту голодных в тюрьме мимо тюремщика вы не можете. А если б и могли, то все равно не спасете их от муки ада. Это не я говорю вам – это говорят матери детей, умирающих от голода. Быть рабами сытыми, тело спасти и погубить душу, «детям не мочь говорить громко об отцах и братьях своих, не боясь быть замученными за то, что они не дети палачей», – вот ад, вот смерть страшнее всех смертей.

Не лгите же, люди, не лгите себе и другим, не говорите, что вы, из человеколюбия, людей в аду оставляете, соглашаетесь для Бога с дьяволом.

Нансены, и все вы «человеколюбцы», хочу верить человеколюбцы воистину, как же вы не видите, кто с вами? Как не понимаете, чему обрадовался дьявол, заключив с вами союз? И неужели не слышите вы, как смеется он над вашим святым знаменем, над Красным Крестом – красным от крови не человеческой?

Нет, не знают еще своего последнего ужаса русские матери, не знают, что Россия – между двумя огнями, двумя смертями, двумя адами. Из огня в огонь, из смерти в смерть, из ада в ад, от дьявола к дьяволу, от русского – к всемирному.

А если вы сами не лгать уже не можете, люди, то дайте же правду сказать хоть другим.

Мы, русские, знаем, чего вам нужно, палачи всемирные. «Где труп, там соберутся орлы». Вы не орлы, а только вороны да коршуны-стервятники. Вам нужно превратить Россию в «колонию», «концессию», в падалю, чтобы напиться падалю. Вот для чего вы слетаетесь, чтобы добить полумертвую, выклевать очи полуживой. Берегитесь, не рано ли начали. А если не рано, то добивайте просто, «честно». Поучитесь этому у ваших братьев, русских палачей.

Скинь маску, дьявол, открой лицо и не ругайся над Крестом Господним: он тебя убьет.

«МОЯ ОБМАНУТАЯ ВЕРА В ПОЛЬШУ» [19]

Некоторые статьи этой книги написаны около полугода тому назад. И протекающее время не только не опровергает моих положений, – оно их подтверждает.

Точка зрения, с которой в книге рассматриваются явления большевизма и события Европы, позволяет видеть внутреннюю их логику и предугадывать, в общих чертах, их течение. Нам, современникам, особенно трудно проникнуть в главный смысл происходящего; у нас нет перспективы, мелкое порою заслоняет от нас крупное, случайное и обманное покрывает истину. Понять, или хотя приблизиться к пониманию происходящего в его сути, уловить единую линию, можно лишь став на самую глубокую точку зрения – религиозную. Под этим вечным знаком и написаны статьи моей книги.

Европа жаждет мира и спокойного труда. И обманывает себя, думая, что может достичь успокоения, пока Россия задыхается под игом новых варваров. Обманывает себя, считая, что может экономически преуспевать, пока целый соседний народ вымирает от голода, убеждая себя, что застрахована от внутренних потрясений, хотя у III Интернационала есть такая база, как Россия. Обманывает себя, ибо закрывает глаза на религиозную сущность властвующего в России Интернационала, на главный принцип его, от которого он может отказаться, лишь перестав существовать.

Рано или поздно Европа это поймет. Мы хотели бы верить, что поймет не слишком поздно.

В книге, в моих статьях, я и теперь не мог бы изменить ни одного слова. Есть лишь одна частность, о которой я хочу упомянуть. Это моя обманутая вера в Польшу. Я верил в душу, сердце и разум братского польского народа. Я и теперь верю в его душу, если эта душа – бессмертный польский мессианизм. Но ослепленный разум Польши закрыл ее душу и сердце. Мир, который она подписала с большевиками, – уничтожил или отдалил на долгие годы мир ее с Россией, такой насущно необходимый обоим соседним странам. Не видеть этого может только тот, кто не видит возможности воскресения России или не хочет его.

И совсем не в условиях Рижского мира дело, не в том, «выгодны они или нет для России». России нет, и не с Россией, а с ее лютейшими врагами Польша заключила мир, уж для них-то во всяком случае выгодный. С этой точки зрения безразличны условия мира; существует только одно: факт мира.

Я самый убежденный сторонник безусловной свободы самоопределения

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
народностей. Я совершенно уверен, что если бы Польша отнеслась к соседнему братскому народу сознательно, если бы она поняла смысл своей августовской победы, этого «чуда над Вислой», и через две-три недели стала бы разговаривать с Россией (освобожденной) – эта Россия не стала бы торговаться с нею. Русский народ давно понял, что лучше иметь малую территорию, чем никакой. Сейчас он не имеет никакой: все большевистские.

Повторяю: мы, пережившие и понявшие большевизм в России, мы неизменные и твердые сторонники свободной жизни и самостоятельности всех народностей, даже самых мелких. Всех, кто этой свободы пожелает и пока будет находить возможным и выгодным для себя существовать самостоятельно. Это так ясно, и необходимость предоставления свободы другим так очевидна для нас, русских, знающих ценность свободы, – что мы лишь можем удивляться опасному ослеплению многих в Европе.

Не «территории», не «границ» не простит Польше будущая Россия, а самого мира с ее палачами. Не простит и Польша России: ведь мы труднее всего прощаем тому, кому мы сделали зло. Не страшна ли эта грядущая, длительная вражда – пусть даже не война, но вражда, – двух народов, вражда вопреки разуму, требующему от них мира и дружелюбия?

Вера в Польшу, которая диктовала мне многие строки в этой книге, – превратилась ныне в боль за Польшу. Я слишком люблю ее сердце, – ее историю, ее великих людей, Мицкевича, Красиньского, Словацкого, Товьянского, всю ее героическую борьбу, проходившую под четырехконечным знаком – знаком креста. И вот, на пороге своего возрождения Польша Кресту изменила. Не предстоит ли ей Голгофа новая?

Под вечным знаком Креста ныне начинается медленное, тяжелое, но крепкое восстание России из пепла. Это уже не вера наша – это мы знаем, это действительность. Каковы бы ни были времена и сроки, обещание не обманет. Третья, новая, свободная святая Россия – идет.

Июнь 1921 г.

Париж

РЕЧЬ НА МИТИНГЕ В СОРБОННЕ [20]

Россия ныне отсутствует в сонме великих держав, как сила политическая. Мы, русские, не сомневаемся – и не только мы, но и те из иностранцев, которые видят дальше завтрашнего дня, не сомневаются, что неизбежен и, может быть, ближе, чем это многим кажется, тот день, когда Россия снова вступит в сонм держав, как великое государство. Ибо великий народ не может не быть великим государством. А величие России доказано всем прошлым – и настоящим.

Да, я смело говорю: и настоящим. Так страдать, как сейчас страдает русский народ, и все-таки оставаться живым не может народ ничтожный. А что русский народ жив, это несомненно уже по тому, что страдания России есть страдания мира, и что отсутствием России равновесие мира будет нарушено. Неблагополучно в мире сейчас, потому что России нет; и будет неблагополучие, пока снова не будет России.

Можно сказать, что чем больше Россия отсутствует в мире, как явная сила политическая, тем больше присутствует, как тайная сила духовная.

Для того чтобы сделать осязаемым присутствие духовной русской силы, достаточно назвать только два имени: Л. Толстого и Достоевского. Достоевского, особенно. Ведь именно он предрек все то, что сейчас происходит в России. Но если первая половина пророчеств его – о нашей смерти – уже исполнилась с изумительной точностью, то не исполнится ли с такую же точностью и вторая половина этих пророчеств – о нашем воскресении?

И не только все то, что сейчас происходит в России, предрек Достоевский, но и все то, что происходит в мире.

«Всемирное объединение народов», не внешнее, насильственное, огнем и мечом, а внутреннее, свободное, «в духе и в истине», Достоевский предрек как единственное спасение человечества. И главную силу, ведущую к этому объединению, видел он в силе религиозной, христианской, именно той, которая присуща России по преимуществу.

«Свет с Востока» – ex oriente lux, свет соединяющий, та «молния, которая блистает с востока и видна бывает даже до запада», – вот чем была христианская Россия для Достоевского.

Россия – свет с Востока, Франция – свет с Запада. Франция дала миру ту великую идею, которую доньше он дышит и живет – идею Свободы, идею личности, тоже христианскую по преимуществу. Ибо что такое христианство, как не откровение Личности?

Франция была уже раз светочем мира и будет им снова: вот где наши надежды встречаются с вашими.

Франция – свет с Запада, Россия – свет с Востока: когда эти два света соединятся, то исполнится предсказанное русским пророком всемирное соединение народов в духе и в истине, единственное спасение человечества.

Франция только что прошла через великое испытание; Россия сейчас проходит через испытание еще большее. Сколь ни различны эти два испытания, сокровенный смысл их – один: утверждение Свободы, Прав Человека, Прав Личности не только внутри, но и вне, не только для своего, но и для всех народов; всемирное объединение не мечом и огнем, а в духе и в истине.

Мы собрались сюда из многих земель, из многих народов, в эту минуту, столь грозную для каждого из народов и для всего человечества, – собрались по зову Франции в тот святой город, где родилась Свобода, в город Париж, доньше сердце мира, солнце мира.

И вот почему я не сомневаюсь, что вы, французы, и вы все, друзья Франции, скажете вместе с нами, русскими: во имя свободы мира, во всех испытаниях, во всех поражениях и победах, да будет вечен наш союз.

1925–1825 гг. [21]

Кажется, я недаром начал писать «14 декабря» в 1915 – 16 году, накануне революции. Да, и вообще все чаще кажется, что не совсем верна пословица: «От слова не станется». Нет, иногда и станется. Только – что сказал: «Грядущий хам», и вот уже пришел; только – что сказал: «Петербургу быть пусту», и вот уже пуст. Правда, легче предсказывать дурное, чем хорошее...

Повторяли – заклинали: «Дом, гори! Дом, гори!» и вот, вместо отчего дома – даже не куча пепла, а то, что и назвать непристойно, – С.С.С.Р.

Как сейчас помню: солнечно – снежным, февральским утром, сижу за рабочим столом, в моей петербургской комнате, окнами на Сергиевскую улицу, и пишу о темном, оттепельном декабрьском утре на Сенатской площади, вдруг выглянул в окно и вижу: маленькая кучка солдат вежливо останавливает великолепный собственный автомобиль; из него выходит старая дама в трауре с молодой барышней, а «товарищи» садятся в него: и опять все тихо на пустынной улице. Но сердце у меня захолонуло: я уже знал, – помнил, что «началось»... О, это страшное чувство знания – воспоминания – повторенья вечного!

Все это уже было когда-то.

Но только не помню, когда...

А «Дневник Сергея Муравьева» я дописывал в Дружноселье, по Варшавской железной дороге, в старом барском доме, начала 19-го века, в глухую осень, когда по соседним лесам и болотам пробиралась «дикая» дивизия. Как хотелось верить тогда, что Корнилов кончит то, что начал Сергей Муравьев, хотя и тогда уже знал – помнил, – что вера моя безумна!

Помню также: почти накануне бегства моего из России, товарищ Ионов, комиссар петербургского госиздательства, «главный начальник по делам печати», предлагал мне прочесть лекцию на каком-то ихнем торжестве в честь декабристов, в зимнем дворце, в «Белой зале с колоннами»; он убедительно повторял и настаивал, что зала «Белая, с колоннами». Я тогда сподличал: вместо того, чтобы прямо ответить, что не буду читать палачам о жертвах, отговорился мнимой болезнью горла – голоса-де не хватит для такой огромной залы. Он молча посмотрел мне в глаза и перестал убеждать – понял, в чем дело; понял и я, что мне это припомнится.

С той поры я уже не заглядывал в «14 декабря»: слишком больно было, страшно; а сейчас в эту годовщину, больнее, страшнее, чем когда-либо...

Смертную тяжестью давит вопрос: чей это праздник? Наш или тех, чьим именем не хочется осквернять уста в этот день?

Не связан ли Октябрь с Мартом, а Март – с Декабрем? Эти не правнуки ли тех? «Те начали, эти кончили; каково начало, таков и конец». Так подумают многие там, в России; так многие скажут здесь, за рубежом.

О, жертвы мысли безрассудной,  
Вы уповали, может быть,  
Что станет вашей крови скудной,  
Чтоб вечный полюс растопить?

Едва дымясь, она сверкнула

На вековой громаде льдов;

Зима железная дохнула, –

И не осталось и следов...

Поэт ошибся: хватило их скудной крови, чтобы растопить вечный полюс... А все-таки – все-таки, если бы они знали, что делают, не ужаснулись ли бы? Не отступили ли бы перед своим подвигом, если бы предвидели, какие венцы сплетутся им «обезьяньими пальцами»?

Надо сказать твердо, ясно и точно: Октябрем убивается Декабрь – Март; что Март и Декабрь одно, – не посмеют отрицать злейшие враги обоих, ни даже сам Октябрь.

Надо сказать твердо, ясно и точно: между Декабрем – Мартом и Октябрем – такая же непереступимая черта, как между жизнью и смертью, свободой и рабством, Богом и дьяволом. Если бы все мы – все люди на земле – не сошли с ума, то этого бы и говорить не нужно: так просто, так ясно, что без свободы нет жизни, нет человека, нет Бога.

О как говорить матери, сошедшей с ума, оттого что сын ее погиб в огне пожара, о пользе огня? Как говорить большей части русских изгнанников о метафизическом существе революции? При одном слове: «огонь», они завопят: «О, будьте вы все прокляты, поджигатели!» И с этим воплем спорить нельзя: в нем своя вечная правда.

А между тем, двумя годовщинами – столетней, Декабрьской, и восьмилетней, Октябрьской – поднять именно этот вопрос не только об эмпирической природе Огня – Революции, но и об его метафизическом – религиозном – существе. Мы должны твердо, ясно и точно ответить на вопрос: все ли в Революции от дьявола – нет ли чего-нибудь и от Бога?

Древние греки лучше нашего знали религиозную природу Огня: Огонь принесен на землю свыше, другом людей, врагом богов, титаном – Прометеем. Это значит: существо Огня титанично – демонично – «божественно», не в нашем, новом, а в древнем и, может быть, вечном, смысле, потому что и «демоны», «даймоны», суть «боги», не Олимпийские, небесные, а земные, подземные.

Надо сказать твердо, ясно и точно: метафизическое – религиозное – существо Революции, в этом древнем, вечном смысле, «демонично» – «божественно».

Мы все теперь знаем, что Наполеон – не только «Антихрист», как думали русские раскольники и Л. Толстой; не только «демон», но и «бог». Спасая мир, он убил Революцию, свою мать. Но, чтобы ее убить, ему надо было от нее родиться.

«Чье изображение на динарии?» – «Кесарево». – «Воздайте же кесарево – Кесарю».

Чье изображение на современной, буржуазно-демократической Европе? Его, Наполеона. Воздайте же его – ему. Кто принял Наполеона, тот принимает и Революцию.

Это значит: несмотря на все вопли сумасшедшей матери мы должны сказать твердо, ясно и точно: есть огонь в пожаре, но есть и в очаге, и в кузнице, и в лампаде перед образом. Все это – разные огни, и один и тот же – Его огонь. «Огонь пришел Я низвести на землю». Или Его огонь не жжет? Нет,

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
жжет. Его огнем – «Апокалипсисом» – испепелится мир.

Две силы, равно «демоничные» – «божественные», действуют в мире и в человечестве: Непрерывность – Прерыв, Необходимость – Чудо, Эволюция – Революция. Говоря языком догматическим, Троичным: первая шла – от Отца, вторая – от Сына. И вопрос не в том, как разделить их и уничтожить одну другой, а в том, как соединить. Ибо из-за этого качества и безумств – распри Сына с Отцом – мир – сейчас погибает, и не спасется, пока не соединит Двух в Третьем.

Надо быть сумасшедшею матерью, чтобы утверждать, что эти, чье имя оскверняет уста, довершают подвиг тех.

Простят ли чистые герои?

Мы их завет не сберегли.

Мы потеряли все святое:

И стыд души, и честь земли.

Можно во всем сомневаться, только не в их чистоте. Есть ли между «обезьянами» чистые? Странный вопрос. Но, если даже есть, то это самые страшные. Тут одно из двух: или здоровые мерзавцы, или «чистые» душевнобольные; чем больнее, тем чище.

Чистота от здоровья, от юности, детскости, есть главное свойство «тех». Только что родились, открыли глаза, и уже влюбились в Прекрасную Даму – Конституцию. От них от всех «Апрелем пахнет»; им всем, кроме Пестеля, Сергея Муравьева и Лунина, по 13–14 лет. Именно в этой слишком детской чистоте – их сила и слабость всей русской «интеллигенции» (какое нелепое слово!), этого рыцарского ордена все той же Прекрасной Дамы.

Пушкин, самый здоровый человек, может быть, не только в России, но и Европе, недаром так жадно влечется к ним. Они его не приняли, как «нечистого», и, кажется, в этом не совсем ошиблись. Но он все-таки был с ними.

И долго буду тем любезен я народу,

что в мой жестокий век восславил я свободу...

Конечно, не в оде «На вольность», а в песнях «Ариона».

Погиб и кормчий, и пловец;

Лишь я, таинственный певец,

на берег выброшен грозюю...

Да, надо быть сумасшедшею матерью, чтобы смешивать этот белый цвет яблони с тою кровавою грязью.

Между Пушкиным и Петром – вот где их место. Недаром, именно здесь, на Петровской площади, у подножья Медного Всадника, начинают они восстание, как будто против него.

Добро, Строитель чудотворный!

Ужо тебя...

Как будто уничтожают его, а, на самом деле, продолжают.

Лик Наполеона – на современной Европе, лик Петра – на России. Но самодержавие после Петра только и делает, что стирает этот лик, заколачивает «окно в Европу», чтобы оттепельный ветер оттуда не растопил русского «вечного полюса». Они, дети Петровы, снова прорубают это окно.

Но кто же их Прекрасная дама? Конституция – Республика? Нет, что-то неизмеримо больше. Сергей Муравьев повторяет молитву Чаадаева уже не на русском, восточно-православном, а на европейском, всемирно-христианском языке:

«Adveniat regnum tuum.

Да приидет царствие Твое».

Русское самодержавие – ложная теократия, царство Божие с царем Кесарем вместо Царя Христа. Феофан Прокопович, сочинитель Духовного Регламенты, знал, что делает, когда называл Петра «Христом, помазанником Божьим». И Петр знал, что делает, когда на вопрос Феофана: «Ты ли Христос?» ответил: «Ты говоришь, что Я».

Знал и Сергей Муравьев, что делает, когда на тот же вопрос ответил: «Один



Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Царь на земле и на небе – Христос. – Да придет царствие Твое».

Но этого не могли повторить ни атеист Пестель, ни атеист Рылеев.

Религиозного противоречия, бездонно-зияющей пропасти между Сергеем Муравьевым и Рылеевым-Пестелем не вскрыл Декабрь, не вскрыл и Март. В эту пропасть и провалилась Россия.

И вот «Двенадцать» Блока – двенадцать «серых обезьян» – ведет как будто Христос, а, на самом деле, Другой. «Вы Меня не приняли; другой придет – его примете».

Минули годы, годы, годы...

А мы все там, где были вы.

Смотрите, первенцы свободы:

Мороз на берегах Невы!

Мы – ваши дети, ваши внуки...

У неоправданных могил

Мы корчимся все в той же муке,

И с каждым днем все меньше сил...

И в день Декабрьской годовщины

Мы тени милые зовем:

Сойдите в смертные долины,

Дыханьем вашим оживем...

И ваше будем пить вино...

О, если б начатое вами

Свершить нам было суждено!

Что свершить? Русскую конституцию – республику? Надо сказать твердо, ясно и прямо: если все «завоевания революции» сводятся только к этому, то игра не стоила свеч. О, конечно, мы ускромнились – будем рады и этому! Но не стоило, воистину, не стоило ставить на карту судьбы мира, зажигать «всемирный пожар», чтобы получить русскую конституцию или даже буржуазно-демократическую республику. Нет, этим, только этим, мы не оправдаем себя, не оправдаем их.

Хотим – не хотим, русская революция больше, чем русская. Близок день, когда не только в России, но и во всем мире будет сказано или Христу, или Другому: «да придет царствие Твое»!

Дьявол украл у Бога правду общественную, «социальную». Надо отнять ее у дьявола и возвратить Богу.

Правда Божья общественная не откроется людям без откровенья Божьего. Но Божье откровенье есть и открытие души человеческой.

«Как летний дождь сойду Я на них, как роса – на скошенный луг». Откровенье Божье сходит с неба на землю вечными росами. А если и под ними душа остается пустою, то потому что опрокинута, как чаша вверх дном. Надо перевернуть душу. Вот настоящий «переворот», «революция» – уже не во имя Другого, а во имя Христа.

Хотим – не хотим, мы губим или спасаем не только себя. Мы должны сказать так, чтобы услышал весь мир: «да придет царствие Твое!».

Только этим мы оправдаем себя, оправдаем их.

О МУДРОМ ЖАЛЕ [22]

Строители Нового Дома, я хочу сказать вам два слова. Говорю как будто со стороны, не из Дома, а в Дом, но не потому, что я не с вами, а потому, что я человек поколения старшего, годами, – сердце не стареет. Только два слова, – следующие слова будут зависеть уже не от меня, а от того, как Дом ваш построится.

Воля к мысли – вот мои два слова, и надеюсь, вы меня поймете с этих двух слов. Да и те, кто с вами, – я не сомневаюсь, что кое-кто будет с вами, и сейчас уже есть, – те меня тоже поймут.

Воля к мысли – ведь это и есть камень, заложенный в основание Нового Дома – «камень, пренебреженный зиждущими, но который сделается главою угла». Не оттого ли и рухнул наш Старый Дом, что он был основан не на этом Камне?

Воля к мысли скована сейчас в России такими цепями, каких мир еще не видал. Верно поняли ковавшие цепь, что не сковав мысли, не скуешь и России. Это очень страшно, но не удивительно: удивительнее и, может быть, страшнее то, что воля эта скована и здесь, среди нас – кем? чем? Как бы мы ни ответили на этот вопрос, ясно одно: с волею к мысли борется тайная, темная, но очень упорная и жадная воля к безмыслию. Там, в России, воля эта понятна со стороны сковавших цепь, а отчасти, и со стороны скованных: есть же такая мера несчастья, когда лучше не думать, потому что всякая мысль – только лишняя боль. Но ведь здесь, среди нас, бегство от мысли совсем не такое, и объяснить его нельзя ничем, если только не предположить самое страшное – что и здесь и там рука, сковавшая мысль – одна – видимая там, невидимая здесь...

Но об этом в двух словах не скажешь. Лучше вернемся к более узкой литературной задаче Нового Дома.

Что такое воля к мысли в литературе? Это воля к оценке, к суду, прежде всего, над собой, а потом и над другими, – воля к творческой критике, потому что критика, в своем высшем пределе, не только может, но и должна быть творческой.

Кажется, вы очень верно угадали самую насущную потребность русской литературы, вчерашней, сегодняшней и завтрашней. «Жатвы много, а делателей мало». Мало критиков; и жатва русской литературы осталась несобранной; житницы наши все еще пусты. Это в прошлом, а в настоящем и будущем: русская литература нуждается в критике, как иссохшая земля в дожде.

Десять тысяч «поэтов», и ни одного критика. Что это, хороший знак? Нет, очень плохой. Не потому, разумеется, что поэтическое творчество ниже критики. Может быть, выше; может быть, и ниже. Данте говорит стихами, но ведь и Смердяков «любит стишок». Без критики мы так и не узнаем, сколько в числе десяти тысяч Смердяковых и сколько Данте.

Спор критики с поэзией давний и ненужный спор. Муза критики и муза поэзии – родные сестры. Критика есть оценка, но и сама оценка может быть – нет, должна быть ценностью, это и значит – критика должна быть творчеством, поэзией, так же как поэзия должна быть глубочайшей мыслью о жизни, судом над жизнью – критикой.

Критика – не только суд над прошлым и настоящим, но и предсказание будущего: пророчество. Да, вот вечное, хотя и забытое имя критика – пророк. Имя это наше, русское, по преимуществу.

Русская литература извне наименее, а внутри наиболее критическая, потому что наиболее пророческая. От «горестных замет» Пушкина, первого русского критика, через «Философические письма» Чаадаева и гениальную все еще не понятую «Переписку с друзьями» Гоголя до «Дневника писателя» Достоевского к Вл. Соловьеву и Розанову, – вот критический, пророческий путь русской литературы. Он оборван с бытием России; с ним же будет и восстановлен.

Критика – пророческая мысль – есть жало поэзии. Поэзия без мысли – змея без жала.

И жало мудрья змеи  
В уста замершие мои  
Вложил десницею кровавой.  
Это мудрое жало нам сейчас нужнее, чем когда-либо. Мы, русская диаспора, – воплощенная критика России, как бы от нее отошедшая мысль и совесть, суд над Нею, настоящей, и пророчество о ней, будущей.

Да, мы – это, или – ничто.

P. S. Хороший знак для строителей Нового Дома, что змея без жала – воля к безмыслию – так зашипела на них.

О СВОБОДЕ И РОССИИ [23]

Научилась ли русская эмиграция свободе? На этот вопрос, поставленный З. Н. Гиппиус в «Зеленой Лампе» – приходится ответить: нет, пока еще не научилась.

Таков, впрочем, ответ лишь тыла, а не фронта. Сейчас произошел, или грозит произойти, отрыв тыла от фронта. Это очень большая опасность на войне, но еще не поражение. Нет ли, однако, указания на то, что сделана лишь одна половина нашего дела?

Русская эмиграция героична, насколько героичнее французской и польской! У тех было изгнание с поддержкой и сочувствием всей Европы их национальной трагедии; у нас же не только изгнание, но и гонение, с поддержкой и сочувствием врагам России – нашим врагам. И вот, под эту двойную тяжесть изгнания и гонения, мы все-таки выжили и, по всей вероятности, выживем до конца; выжили 10 лет, выживем и 20, 30, 40 – сколько нужно Истории. Мы как Израиль в Вавилонском плену. И спасаемся мы от нашего потопа не на отдельных плотках; а в целом ковчеге.

Сохранено наше национальное бытие; мы национально оказались тверже, чем сами думали. Бытие первее, важнее, чем смысл бытия, по завету Алеши Карамазова. Но это утверждение нашего бытия – бытия России, эта героическая статика – только половина дела. Другая половина – героическая динамика, нахождение и утверждение нового смысла в нашем бытии – в бытии России.

Вот этой-то второй половины дела мы еще не сделали, может быть, еще и не начинали делать. Мы стоим, повернувшись лицом к России, пусть не бессмысленно, но с неподвижным смыслом. Мы поняли бытие России национальное. Но этого мало. Нам нужно повернуться лицом и к Европе, к миру, чтобы понять и бытие России всемирное.

Русская трагедия не только русская, национальная. В чем смысл этой трагедии? Не в борьбе ли за свободу? Но идея свободы, идея личности – основа европейской, всей мировой культуры – есть идея религиозная, христианская и всемирная по преимуществу, потому что существо христианства всемирно.

Повернуться лицом от России к миру – значит повернуться лицом к свободе. Так же глубоко, как мы поняли национальное тело России, мы должны понять ее всемирную душу – свободу. Мы должны понять, что, борясь за свободу России, мы боремся и за свободу мира. Если бы то, что сейчас торжествует в России, восторжествовало во всем мире, то рушилась бы глубочайшая основа мировой жизни – идея свободы, идея личности.

Пока мы обращены лицом только к России, мы разделены возможными политическими смыслами ее будущего национального бытия; неразрешенными и неразрешимыми без опыта вопросами: монархия или республика? Милюков или Струве? Только повернувшись лицом к миру, мы найдем единый и объединяющий смысл. Будущая Россия должна быть свободной: в этом – в этом одном, в самом главном, единственно важном, всерешающем – мы ведь, в сущности, все согласны, от Милюкова до Струве. Но выразить это согласие на языке национально-политическом, оставаясь в области только политики и только национальности, – невозможно; выразить его возможно лишь на языке всемирно-религиозном, а осуществить на деле – лишь повернувшись от России к миру и к мировой борьбе за идею свободы, идею личности.

Если мы не найдем в изгнании духовного единства, мы вернемся в Россию из нашего всемирного рассеяния – рассеянными; спасемся от всемирного потопа на отдельных досках нашего эмигрантского ковчеге.

Как обессиленные щепки  
Победоносных кораблей.

Нет, да не будет! Изгнанная Россия должна вернуться в Россию новую, как одна душа в одно тело. Мы еще здесь должны кончить наши национально-политические распри и боренья; еще здесь мы должны найти наше всемирно-религиозное единство.

Обращенные лицом только к России, мы не существуем для Европы, для мира, как действенная сила, как своего рода не военная, а духовная интервенция. А дело освобождения России не обойдется без такой духовной интервенции, вольного и невольного вмешательства мировых духовных сил в мировую трагедию России, ибо сейчас происходит борьба за идею всемирной свободы с идеей не только нашего русского, национального, но и всемирного рабства. Мы должны твердо помнить, что главнейший, опаснейший соблазн нашего врага – ложная всемирность, Интернационал; и мы должны противопоставить этой силе лжи

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
равную силу истины – религиозную силу всемирности. Только во имя  
национальности мы Интернационала никогда не победим; никогда не спасем  
России во имя только России.

Тяжела и грозна павшая на нас ответственность: мы ведь сейчас, может быть,  
отвечаем не только за Россию, но и за мир, нами оставленный.

ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА Беседа I <5 февраля 1927> Речь Д. С. Мережковского[24]

Наша трагедия – в антиномии свободы – нашего «духа» – и России – нашей  
«плоти». Свобода – это чужбина, «эмиграция», пустота, призрачность,  
бескровность, бесплотность. А Россия, наша плоть и кровь, – отрицание  
свободы, рабство. Все русские люди жертвуют или Россией – свободе или  
свободой – России.

Если бы там, в России, было полное счастье, но я бы знал, что там могут –  
только могут – мне плюнуть в лицо, я остался бы здесь, в изгнании. Здесь, я  
знаю, на человека, особенно русского, плюют de facto, но не могут этого  
сделать de jure, не имеют права. Вся Европа, от Древнего Рима до наших  
дней, должна была бы разрушиться, чтобы кто-нибудь кому-нибудь имел право  
плюнуть в лицо. И наоборот: СССР рушился бы, если бы это право в нем было  
уничтожено.

Пламя нашей лампы сквозь зеленый абажур – вернее, сквозь зеленый цвет  
надежды. Вера в свободу, с надеждой, что Свобода и Россия будут одно.

Это очень трудно понять. Многие еще или уже не понимают: устали жертвовать  
своей плотью – духу, устали жертвовать Россией – свободе. Зараза усталости,  
обывательщины очень сильна. Воздух наш напоен тончайшим ядом. Он  
затуманивает нас, мы теряем понемногу чистые понятия свободы и родины. Быть  
может, «Зеленой Лампе» следовало бы сделать лабораторией, чтобы искать  
противоядий, оперируя с элементами химически чистыми...

Свобода сейчас, даже здесь, в эмиграции, очень часто – запретная тайна. Не  
тяготее ли на нас порабощение России? Не у всех, сошедшихся около «Зеленой  
Лампы», в распоряжении печатное слово. И это хорошо. Не все, может быть, и  
следует печатать. Иногда слова сказанные сильнее написанных. Этой силой  
слова сказанного мы и должны пользоваться. Наименее важно то, что можно  
напечатать; важнее то, что можно написать, еще важнее, что можно сказать, а  
самое важное – о чем надо молчать.

Русская литература – наше священное писание, наша Библия, – не книги, а  
книги, не слова, а Слово, Логос народного духа. Слово есть дело. «В начале  
было Слово». У Гете сказано: «В начале было дело». Но это одно и то же.

Строение идеологии, кование оружия, нахождение противоядия – единственно  
реальное сейчас дело, не слова, а Слово, – слово и дело вместе.

Итак, что же значит: «за здоровье тех и той»? Это значит: при свете «Зеленой  
Лампы», огня сквозь зеленый абажур, мы пьем за Свободу-Россию,  
Россию-Свободу – как одно существо, мы пьем за ее великое умолчанное слово.  
Пьем за здоровье тех, кто к Ней идет, все равно здесь ли, на чужбине, или  
там, на родине.

РЫЖАЯ КРЫСА [25]

Русская «эмиграция» (нехорошее слово, но другого, общепонятного, нет) есть  
ковчег над русским потопом. Ной ковчег – сам великий дух России. Как  
выходит дух из человека, когда он умирает, чтобы снова войти в него, когда  
он воскреснет, так вышел из России дух и носится в ковчеге по водам, ожидая  
конца потопа. Долго ли ждать?

«Ной открыл окно в ковчеге и выпустил голубя, чтобы узнать, сошла ли вода с  
лица земли. Но голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к  
нему в ковчег, ибо вода была еще на поверхности всей земли. И помедлил Ной  
еще семь дней, и опять выпустил голубя. Он возвратился к нему в вечернее  
время; и вот, свежий масличный лист во рту у голубя; и Ной узнал, что вода  
сошла с лица земли».

Глухо промелькнула весть, что Пешехонов поступил на службу в Рижское  
торгпредство. Что это, масличный лист в клюве благовещего голубя?

Прост, как голубь, был Пешехонов всегда, и так же «чист»: «светлая личность», «боец на славном посту», «честный из честных русских интеллигентов», «подлинный израильтянин, в котором нет лукавства»; и вот чем кончил.

Может ли это быть? Не пустой ли это слух? Но подтвердится ли слух или будет опровергнут, сам по себе он удивителен, и всего в нем удивительнее то, что ему никто не удивился, – до того вдруг всем показалось естественным, чтобы Пешехонов кончил именно так. Поступил ли он в торгпредство или не поступил, все равно, – мог, хотел, должен был поступить: только этого и ждали. Не приглашали – сидел, пригласили – пошел; так механически необходимо слился с родною торгпредскою стихией, как маленький ртутный шарик – с большим. Важно, повторяю, не то, было это или не было, а то, что все так мгновенно и неотразимо поняли, что место Пешехонову там, куда он попал; поняли и не удивились, что так долго не понимали.

Канула «светлая личность» в темную воду, пошла, как ключ, ко дну и даже кругов на воде не оставила: все гладко, зеркально, недвижимо. Был человек, как не был; умер, как бы не родился; сгинул, и никто о нем не вспомнил.

Низость низких душ не удивляет; но как не удивиться, казалось бы, низости «души благородной»? Как не ужаснуться, поняв, что мы погибаем не столько от обыкновенных, сколько от «добродетельных» подлостей?

Тихо сгинул Пешехонов, а сколько из-за него было шуму, сколько «благороднейших» споров! О чем? Стыдно сказать: о том, возвращаться ли ему в Россию или не возвращаться, – в последнем счете, как теперь обнаружилось, поступать ли в торгпредство или не поступать? И вот, когда поступил, – ни слова, ни звука; тишина, молчанье, могила.

Где же друзья Пешехонова, где его союзники, сообщники? Где Кусковы, Прокоповичи, Слонимы, Святополки-Мирские, и сколько других «светлых личностей»? Что ж они молчат? Или рассердиться им на Пешехонова, значило бы на себя рассердиться; за него устыдиться – устыдиться за себя? Молчат, чтобы не сказать: «Все там будем»?

Сам по себе Пешехонов незначителен – мнимая величина, марево. Хорошо, если мы это, наконец, поняли; но надо бы понять и то, что пешехоновский дух страшно значителен, страшно действителен, всегда, везде, а особенно здесь, в нашем эмигрантском ковчеге. Слитный, сложный, многосоставный, «примиренческий», «возвращенческий», «соглашательский», он тысячеобразен, тысячеименен; но самый гнусный для нас из всех образов его, самое злое из всех его имен – Крыса.

Почему крыса? Какая крыса? Обыкновенная, большая, водяная, рыжая. Красною была когда-то, но полиняла, порыжела и приняла тоже слитный, смутный, пешехоно-прокоповиче-кусковский «прокукишный» цвет.

Что делает крыса в ковчеге? Грызет, буравит дыру на дне. Зачем? Чтобы спасти ковчегную тварь.

– Ной – старый дурак, – говорит умная крыса. – Выжил из ума, оглох, ослеп; не слышит, не видит, что потоп кончен, воды осталось чуть-чуть, пора выходить из ковчега. Что вы дурака слушаете? Запер нас в клетке, морит в темноте, духоте; губит, а я спасаю – прогрызаю дыру: хлынет в нее вода, угрузнет ковчег, сядет на мель, – тогда помогайте, хватайте, убивайте Ноя, разбивайте ковчег и выходите все на волю, – кончен потоп!

Умную крысу слушает глупая тварь: тесно ей в ковчеге – чистой рядом с нечистой, травоядной с плотоядной, республиканской с монархической, евразийской с эсеровской; евлогьевской с антоньевской; ссорятся, грызутся; воют, режут, визжат, кричат на все голоса; бунтуют, хотят убить Ноя, а крыса грызет, да грызет, буравит дыру. Что если хлынет вода, погибнет ковчег? Кто спасет? Ной – светлый разум, неподкупная совесть – непримиримый дух России?

– Это черт знает что такое! – говорит некто обуянный крысьим духом в одном собрании крысоловов. – Почему вы, господа, себя одних считаете непримиримыми? Кто поставил вас судьями? Кто дал вам право читать в сердцах, пытаться, следить, шпионить, доносить? Это, наконец, возмутительно!

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Это какая-то эмигрантская чека!

Ну что ж, чека так чека! Наши враги – умные дьяволы; не будем же и мы дураками. На войне, как на войне, и в потопе, как в потопе. Буря над нами, под нами бездна, гибель со всех сторон: одно спасенье – ковчег.

«Осмоли ковчег смолою внутри и снаружи», – сказал Бог Ною. Слово для «смолы» в еврейском подлиннике обозначает «горную», «каменную» смолу, нечто вроде нашего крепчайшего асфальта-цемента. Что же такое эта избранная Богом смола? Совершенная для воды непроницаемость, воде неуступчивость, с водой непримиримость совершенная; бесконечно верная защита от воды, потому что чуть-чуть неверная, – значит мнимая совесть, а мнимая защита хуже никакой: каплю воды пропустит смола – пропустит ее всю, и погибнет ковчег.

Такова природа нашей непримиримости. Тут нет «отчасти», нет меры, нет степени: тут все или ничего; не эволюция, а революция – революция по-нашему, «контрреволюция» по-ихнему; своего рода «большевизм наизнанку», – в самом деле, «чека»; лютая верность, дисциплина лютая; черта, отделяющая «их» от «нас» – черта крови. Страшно? Да, страшно, но ведь и потоп не шутка.

Стоит ли наш эмигрантский ковчег такой смолы? Стоит. Мы – жалкая, стиснутая в темноте, в духоте, друг друга давящая, друг друга ненавидящая, грызущаяся, задыхающаяся, почти издыхающая тварь; но мы же и святое семя послепотопной земли, России будущей. Схлынет вода с лица Ее, и чем Она будет, пустынная, дикая, без этого семени? В этом смысле наше спасенье – спасенье России, гибель наша – Ее; наш ковчег есть Ковчег Завета – союза двух миров, двух России, прошлой и будущей – в вечной.

«И сказал Бог Ною: Я поставлю завет Мой с вами, что не будет уже потопа на истребление земли. Вот Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением вечного завета между Мною и между землею».

Рыжая крыса-дура этого не знает; но знает мудрый кормчий, Ной, правящий путь ковчега по вечным звездам на те вершины вечных гор, что от воды обнажатся первые.

Будем же помнить: только тогда, когда рыжая крыса будет выкинута, дохлая, за борт ковчега, – принесет нам голубь масличный лист.

НАШ ПУТЬ В РОССИЮ непримиримость или соглашательство?[26]

## I. В ПОЛИТИКЕ

Что такое эмиграция? Только ли путь с родины, изгнание? Нет, и возвращение, путь на родину. Наша эмиграция – наш путь в Россию.

Emigrare, значит «выселиться». Слово это для нас не точно. Мы не выселенцы, а переселенцы из бывшей России в будущую.

Два пути переселения: один – там, в бывшей России, через страшную, родную пустыню, другой – здесь, через пустыню мира; два крестных пути, и мы не знаем, какой из них более крестный.

Русская эмиграция, продолжающаяся русская революция, есть нечто небывалое во всемирной истории. С чем ее сравнить? С иудейским «рассеянием» или с вавилонским пленением Израиля, или с Исходом его из Египта? Сколько нас, от Полярного круга до тропиков – один, два, три миллиона? Этого мы сами не знаем: мы – несчитанные, неисчисляемые, целое новое племя, новый Израиль, такой же, как тот, древний, – безземельный, бездомный, бесправный, отовсюду изгнанный, всеми гонимый, такой же проклятый, а может быть, и святой, и, уж, во всяком случае, такой же страдающий.

Сами себе мы кажемся очень слабыми, потому что очень страдаем. Но, если в порядке низшем, эмпирическом, страдание всегда слабость, то в порядке высшем, духовном, – не всегда: здесь оно может быть, и силой. В судьбах народов, так же как отдельных людей, печать страдания бывает печатью избрания. Нет ли и в этом сходства нашего с Израилем?

Наше страдание, подобно слепоте, Свет очей, Россию, отняли у нас. Что значит свет, знают только слепые: так, только на чужбине мы узнали, что

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
значит Россия. Внешне ослепнув, мы прозрели внутренне и увидели невидимую Россию, Святую Землю, Обетованную. Сорок лет, может быть, будем блуждать в пустыне, и кости наши в ней падут, но мы должны идти через нее в Обетованную землю.

Надо лишиться земли, чтобы полюбить ее неземною любовью. Наша неземная, бесконечная любовь к России – бесконечная сила.

Сила героя познается в трагедии. Русская эмиграция – действующее лицо великой русской трагедии – оказалась сильнее, героичнее всех эмиграций, – насколько сильнее польской или французской! Тем сочувствовала и помогала вся Европа; нас же ненавидит и гонит, а сочувствует и помогает нашим врагам. Вся Европа, весь мир как будто решили: «Нам быть – России не быть». И вот, под этой двойною тяжестью – изгнания – гоненья, мы все-таки выжили и до конца, по всей вероятности, выживем; выжили десять лет, выживем двадцать, тридцать, сорок, – сколько нужно Истории. Мы оказались крепче, огнеупорнее, чем сами думали. Наша сила, наш героизм уже в том, что мы – мы, Россия в мире, бывшая и будущая, вечная.

Тело народа – земля. Землю нашу, тело, мы потеряли и носимся в мире, как бестелесные духи, всюду проникая, проходя сквозь все и все заражая нашим русским духом – литературой, живописью, музыкой, религией. Дома всюду – всюду чужие; но все вливаемся, но не сливаемся ни с чем. Строим наши русские твердыни, вьем наши гнезда – Гетто – в Париже, Лондоне, Берлине, Шанхае, Сан-Франциско. Русские лица сразу можно узнать в европейской толпе, как некогда можно было узнать иудейские лица в эллинском рассеянии. Мы всемирны, всечеловечны и в то же время замкнуты, загадочны, отдельны, особенны; мы в мире, как масло в воде.

«Мы – сор для мира», по слову Апостола; но, может быть, и этот сор, как тот, будет солью земли. «Мы не известны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот мы живы; нас казнят, но мы не умираем; мы нищи, но многих обогащаем; мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся». Носим в себе мертвость России, чтобы и жизнь ее открылась в нас, ибо мы непрестанно предаемся на смерть за Нее, бессмертную.

О, если бы мы знали нашу силу! Но, вот, не знаем. Мы, как слепой исполин: слабые дети вяжут его и ведут. Что же ослепило нас? Неужели, и вправду, свет России потух в наших глазах?

Как могли мы забыть, что у нас одна Россия, один враг, и воля должна быть одна? Если бы мы имели единство воли, мы имели бы все, что нужно, для освобождения России.

«Скоро ли вернемся?» – спрашивают глупые. «Вернемся ли когда-нибудь?» – спрашивают те, кто поумнее, а самые умные молчат. «Будьте покойны, не видать нам России, как ушей своих!» – злорадствуют тоже не глупые, но всегда примиренцы, возвращенцы, соглашатели.

Что им ответить? Вот, что: пусть мы сами никогда не вернемся, а вернутся только наши дети, внуки, правнуки, но жить и действовать мы должны так, как будто, сами вернемся наверное, и очень скоро. Да и вовсе не в том вопрос, когда мы вернемся, а с чем. Если ни с чем, то лучше никогда. Пусть каждый спросит себя, готов ли он, и если никто не посмеет ответить: «готов», – значит, рано. Только что будем готовы, – вернемся. День возвращения придет, как тать в ночи; но если мы уснем, как не мудрые девы без масла в лампадах, то, как бы скоро ни пришел жених, мы все равно Его не увидим.

Наше изгнание подобно морскому плаванию. Узкая полоска берега таяла, таяла, по мере того, как мы уходили в море, и, наконец, истаяла, исчезла совсем; нас поглотила безбрежность вод. Плыть можно было только по звездам; но и звезды исчезли в тумане. Мы сбились с пути и уже не знаем, куда плывем. Но хуже всего то, что у нас нет кормчего, или, вернее, их два, спорящих: тот хочет править туда, этот – сюда, и корабль стоит на месте, или плывет, неизвестно куда, а ведь это гибель.

Я бы не хотел говорить о лицах, но дело этого требует. В том-то и горе, что общее наше сделалось личным, так что теперь уже нельзя говорить о деле, не касаясь лиц.

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)

Два лица у русской эмиграции, противоположных, как у бога Януса... Республика или монархия? Спор важный и нужный, в порядке отвлеченном, умственном, но в волевом, жизненном, – пустой.

Чем будет Россия, республикой или монархией? Может быть, ни тем, ни другим, а чудовищной или чудесной помесью обеих форм. Опыт русской революции так нов и неизвестен, что и плоды его неизвестны.

Многие думают, что идея самодержавия потухла в умах и сердцах окончательно. Увы, только на время, и всегда может вспыхнуть с новой силой, потому что самодержавие сметено революцией внешне, политически, но не преодолено внутренне, метафизически. Формы его разрушены – ядро цело. Это ядро – не политическое, а религиозное, – лжетеократия; царь – первосвященник, наместник Христа, – в последнем, мистическом пределе, второй, земной Христос, глава церкви и царства вместе.

Эту теократическую связь свою с самодержавием православие порвало то же лишь политически, внешне, а не религиозно, внутренне. Церковь утверждает себя «вне политики»; но два страшных опыта – с царской и советской властью – могли бы ее научить, что одного отрицательного отношения к политике, без положительного догмата о святой власти, недостаточно. Краток и скользок был путь от царской лжетеократии к советской демонократии; не будет ли столь же краток и скользок путь обратный – от самодержца Ленина, «щенка Антихристов», к новому самодержцу из дома Романовых?

Да, религиозный соблазн самодержавия может быть очень силен для будущей России. Кстати сказать, этот соблазн невидим обоим спорящим «вождям» – ни Милюкову, с его позитивной точки зрения, ни Струве, уже обвешанному соблазном: недаром он молчит о нем так упорно.

По закону исторической механики, – угол падения равен углу отражения, – после революции будет реставрация. Но, судя по всему, что сейчас происходит в России, – будет не скоро. А очень скоро, сейчас, думать надо не о том, быть ли России республиканской или монархической, а быть ли ей вообще. Если когда-нибудь, то именно сейчас для России «бытие первее, чем смысл бытия».

Вот почему спор двух «вождей» русской эмиграции – спор теней в Елисейских полях. Помните рассказ человека, побывавшего на том свете? «Тень погонщика гонит тенью палки тень осла». Так и в нашем эмигрантском элизииуме тень республики тенью революции гонит тень монархии.

Но спор теневой, умственный, происходит только на поверхности, а в глубине – волевой, жизненный, можно сказать, все решающий в судьбах русской эмиграции, – спор о том, что приведет к падению советскую власть – эволюция или революция, непримиримость или соглашательство; какой из этих двух путей наш путь в Россию?

Чтобы сразу не запутаться в споре, надо помнить, что речь идет в последнем счете об эволюции не в России, ни даже в СССР, а в самой советской власти, в ее так называемой «партийной головке». Эволюционисты, соглашатели, утверждают, что эта власть вопреки себе, в силу непреложных, социальных и экономических законов, преобразуется, развивается, и концом развития будет превращение варварской деспотии в европейскую демократию. Ледяная глыба коммунизма тает под весенним солнцем эволюции и, когда подтает, рухнет от собственной тяжести, без всякого внешнего толчка; если же и будет толчок, ударчик, террорчик, переворотик, то такой ничтожный, что о нем и говорить не стоит. Плод зреет и, когда созреет, упадет, не сорванный. Что же делать эмиграции? Ничего. Ждать, лелея зреющий плод, храня его от всякого холодного дыхания, от всякого вмешательства, потому что оно только замедлит созревание плода, укрепляя советскую власть, сплачивая вокруг нее национально и патриотически возбужденные слои населения: «Полно-де России получать пощечины, – руки прочь! Пусть наша власть плохая, – она все-таки наша, русская, и мы за нее постоим против всей европейской и эмигрантской сволочи!»

Ждать, а пока что «засыпать рвы», «сменять вехи». Это последнее, впрочем, говорится не столько словами, сколько намеками и умолчаниями, сигнализируется «ультрафиолетовым лучом». Но темной речи ясный смысл таков: последняя смена вех – конец революции, конец войны – мир.

Что утверждают революционеры, непримиримые, может быть, и повторять не



Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
надо, – так оно ясно, просто «лубочно», по выражению П. Н. Милюкова. Они утверждают, что «эволюция» советской власти – самообман эволюционистов; что эту абсолютнейшую из всех властей согнуть нельзя, а можно только сломать: так стекло не гнется, а ломается; довольно бы, кажется, десятилетнего опыта, чтобы в этом убедиться окончательно; стыдно русской эмиграции начинать снова бредить «эволюцией», как раз в ту минуту, когда вся Европа, весь мир готовы очнуться от бреда; если эмиграция не революция, то она ничто, не соленая соль, даже в навоз негодная; сколь ни слаба советская власть, но без внешнего толчка, войны или революции она может простоять еще неопределенно долгое время, как «трехногий стул в углу»; а насчет «ожидания» эволюционистам следовало бы вдуматься в письма из России, вслушаться в эти «голоса из бездны», такие страшные, что надо быть не русским и даже просто не живым человеком, чтобы не поверить им и не содрогнуться от них. Вот один из этих голосов: «Через десять лет будет поздно... Спасайте же теперь... Помните, что изнутри мы одни, без вас, зарубежных, не освободимся никогда» («Борьба за Россию», 6 июля 1927 г.). И еще: «По Москве ходит сейчас каторжная шутка: так как в Нарыме надзору мало, а сосланных все больше, то, в конце концов, там образуется такая армия, что она пойдет на Москву и свергнет большевиков. Кроме шуток, в этом, кажется, наша единственная надежда на спасение» («Руль», № 303).

В Москве ждут армии Сибирской, а в Сибири – эмигрантской. Вот как тамошний бред отвечает здешнему: «В гуще сибирского населения укоренилась мысль, что начало борьбы с коммунистической властью должно совпасть с началом похода эмигрантов; на эмигрантов в Сибири возлагаются большие надежды» (Тянцзиньский «Наш Путь»). Бедные, если бы они знали, какая у нас «армия» и какие «вожди»!

Здешние эволюционисты-соглашатели надеются на поддержку из России. Но вот что им отвечают оттуда: «В России сейчас политическая атмосфера накалена до последней степени, и всякий, кто, хотя бы косвенно, примиряется с существующим, хотя бы тем, что вместо революционных действий ждет эволюции, будет признан в России заклятым врагом» («Б. Р.», 10 сентября 1927).

Но все эти голоса – в «эволюцию», как в подушку. Попробуйте-ка спросить эволюционистов в упор: хотят ли они мириться с советской властью? Как благородно они возмутятся, как искренне! Или попробуйте им сказать, что благородная смена вех хуже неблагородной и что лучше идти прямо на улицу Гренелль, не заходя ни в какие «эволюционные» переулки; попробуйте их не то что обличить, а просто уловить.

«Неуловимое», – очень верно и глубоко определил Мельгунов волевое, жизненное существо спора. «Неуловимое» – невидимое, «ультрафиолетовое», – еще глубже определил покойный Арцыбашев, не умерший, а убитый, задушенный под «эволюционной» подушкой. Ультрафиолетовый луч, как невидимая бабочка, порхает надо всеми эмигрантскими лицами, и на кого опустится, тот сразу волшебным образом меняется в лице, становится ни ихним, ни нашим, полуихним, полунашим; двоится как оборотень.

Чуть ли не в самый разгар войны белых с красными во времена Колчака и Деникина, на IX съезде эсэровской партии, под председательством Чернова, постановлено было «прекращение вооруженной борьбы с большевиками и продолжение ее вплоть до террора с реакционным правительством белых армий». После такого постановления, казалось бы, надо было провалиться сквозь землю или эсэровской партии, или всей русской эмиграции. Нет, все осталось по-прежнему; кажется, даже никто не вышел из партии.

Ну, как не понять несчастного Б. В. Савинкова, не худшего и не глупейшего из нас, который кинулся прямо из черновских объятий в объятия Дзержинского? Мы знаем теперь, по страшному показанию смертника Бурновского, как погиб Савинков: ГПУ заманило его, опозорило, выжало, как лимон, отравило, выбросило труп его из окна пятого этажа на тюремный двор и объявило, что он покончил самоубийством. То же хотело бы сделать ГПУ со всей русской эмиграцией, и, надо сказать правду, соглашатели в этом усердно ему помогают.

26 июня текущего года, в Париже, на публичном заседании РДО, вскоре после разрыва Англии с Советами и убийства Войкова, произошло событие чрезвычайной важности в судьбах русской эмиграции, хотя тоже почти «неуловимое», «ультрафиолетовое». П. Н. Милюков, председатель РДО, выступив с речью о международном положении России, объявил, что «бывают случаи,

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
когда интересы советской России и России вообще совпадают. В случае англо-советского вооруженного конфликта... наши патриотические чувства, по-видимому, совпадут с чувством патриотизма, которое испытывается в рядах части комсомола и коммунистов».

Эти слова Милюкова покрыты были «шумными и продолжительными аплодисментами». Аплодисменты, начавшись в РДО, могли бы продолжиться до ГПУ и до того окна, из которого выброшен был Савинков. Савинков вчера, сегодня Милюков, – не это ли и значит «эволюция»?

«Я не знаю, что остановит теперь Милюкова перед признанием советской власти законною властью России, с которой „демократам“ можно бороться лишь в пределах, установленных IX съездом с.-р. (о прекращении террора)... Нужна, наконец, ясность, и я приветствую постепенное самоопределение всяких „неуловимых“, говорит Мельгунов, более опасный противник Милюкова чем Струве, потому что демократ и республиканец такой же, как сам Милюков» («За Свободу», 13 сентября 1927). Слева, у Павла Николаевича, обстоит дело хуже, чем справа. Этого бы ему не следовало ни забывать, ни замалчивать.

В болезненно-раздражительном отношении его к Мельгунову сказывается слабость его политических позиций. Как ни старается он окрасить непримиримость в монархический, правый цвет, это ему плохо удается; краска линяет, обнажая суть дела: истинная непримиримость демократична.

Если «бывают случаи», когда патриотизм Милюкова совпадает с патриотизмом советской власти – сегодня один случай, завтра – другой, послезавтра – третий, и т. д., то это и есть «эволюция», постепенное соглашение этих двух «патриотизмов» до возможного тождества. Кажется, ясно? Нет, смутно, темно, – темнее, чем когда-либо. Самое бытие эволюционистов предполагает, казалось бы, «эволюцию». Но в той же речи 26 июня, Милюков утверждает: «Возобновление террора (после разрыва с Англией) показало всему миру, что советская власть ни в чем не изменилась, и большевики по-прежнему остались каннибалами». Если так, то где же «эволюция»? Значит ли это, что ее еще нет, или уже нет, или никогда не было и не будет? Ничего не понимаю, не вижу – вижу только ослепляющее трепетание ультрафиолетовых бабочкиных крыл.

И никогда я не поверю, чтобы Милюков не знал цены комсомольскому патриотизму.

Вот беседа с приезжим из России: «Какое впечатление произвел разрыв Англии с Советами? – Почти никакого. Многие, конечно, радовались. – А митинги протеста? – Были многолюдные. Ну, да ведь на это большевички мастера. Попробуй не пойти, покажут, где раки зимуют!» («Б. Р.», июнь 1927).

Никогда я не поверю, чтоб комсомольский патриотизм не смердел Милюкову хуже, чем патриотизм марковских молодцов; тот смрад был все-таки земной, а этот, – помните, у Пушкина, в описании ада:

...запах скверный,  
Как будто тухлое разбилось яйцо,  
Иль карантинный страж курил жаровней серной.  
«Непримиримости физиологической у меня нет вовсе», – признался однажды Павел Николаевич. Увы, здоровое обоняние тоже физиология. Неужели же он до того потерял обоняние, что уже не смердят ему патриоты из Чубаровского переулка, стирающие свои объятия к поруганной ими России?

В той же июньской речи Милюков высказал, по поводу убийства Войкова, опасение, что «неорганизованные и случайные террористические выступления могут заставить советский правящий слой сплотиться из чувства самосохранения, и ликвидация советской власти, тем самым, может только задержаться на многие годы». «Я должен осудить такую тактику, – заключил оратор. – Террористические акты из-за рубежа не могут рассчитывать на практически верный результат. За них обычно приходится расплачиваться чужими, ни в чем неповинными жизнями. Нужно сохранять революционный пафос, революционную волю, но не за чужой счет».

Какая же, однако, революция без террора – война без меча? И что значит «революционная воля не за чужой счет»? О ком это сказано? Если о Коверде, то ведь он убил Войкова за свой собственный счет, если о сочувствующих террору, то неужели Милюков думает, что уверения всей эмиграции, что она против террора, остановит руку, казнящую заложников? нет, лучше бы Милюков

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
не говорил о терроре, ни за свой, ни за чужой счет!

Вскоре после этой речи, в «Последних новостях» появилось письмо или статья неизвестно кого, неизвестно откуда, какого-то будто бы «русского рабочего, бывшего коммуниста», который осмелился назвать Коверду «сволочью». Что это сделал анонимный хам, может быть, провокатор, – довольно естественно; но что «Последние новости» напечатали эту мерзость под знаком молчания – согласия, совсем неестественно, и еще неестественнее, что читатели тоже смолчали.

Пусть между виленским гимназистом, бедным мальчиком, Ковердой, и римским Брутом такая же разница, как между негодяем Войковым и полубогом Цезарем. Но ведь эта разница только для истории, а перед судом человеческой совести, как перед Божьим судом, где нет ни великих, ни малых, Коверда сделал то же, что Брут. Где был бы Рим, если бы позволил назвать Брута «сволочью»? Где будет Россия, если позволит это делать со своими героями?

Истинное несчастье для русской эмиграции, что голосом ее оказались «Последние новости», именно тогда, когда дух живой отлетел от газеты.

Истинное несчастье, что такой человек, как Милюков, пропадает, и хуже, чем пропадает, для русской эмиграции. Я говорю: «такой человек», от чистого сердца. Я всегда считал и продолжаю считать Павла Николаевича, несмотря на его нынешнее затмение, человеком умным и честным. Очень ошибаются те, кто думают, что он сделался примиренцем, соглашателем, из глупости или подлости. О, если бы так! Что бедные Ключниковы, Лукьяновы, Пешехоновы, по сравнению с этим умным и благородным сменовеховством? Только на Милюкове мы видим всю разлагающую силу «ультрафиолетовых лучей».

Как могло с ним случиться такое несчастье? Кажется, этому две причины: одна – личная, другая – общая.

Кто-то назвал Милюкова «королем бестактности». Это не то что неверно, но не глубоко. «Бестактность» в нем свойство не первичное. В глубине своей он – человек трансцендентной неловкости.

Что такое неловкость? Органическая неприспособленность человека к окружающей среде. Горе Милюкова в том, что он родился не тогда и не там, когда и где надо: надо бы ему родиться в тишайшей стране, в тишайшие дни, а он родился в России – в кратере вулкана, перед самым извержением, и попал как раз в него – в русскую революцию, оказавшись в положении самом неестественном, несвойственном ему, трансцендентно-неловком. Вот откуда его «бестактности», «кануны да ладоны на свадьбах», те кошмарные «стыды» и «скверные анекдоты», которые так гениально жестоко умел изображать Достоевский.

Друг Онегина, Ленский, был рожден для Ольги, а Милюков – для оппозиции. Он сделал бы честь любому парламенту, находясь в «оппозиции Его Величества», а ему пришлось делать революцию. Он ее и делает, но ничего не выходит, кроме «стыдов». Когда он говорит: «непримиримость», в его устах звучит: «соглашательство»; когда говорит: «революция», – звучит: «оппозиция». Он и сам это чувствует и хочет иногда поправиться, приспособиться, пробует выскочить из родной стихии в чужую; но, как играющая рыба, выскочив из воды, тотчас падает назад в воду, так и он. И ему неловко и всем за него: «Какой хороший человек в каком положении!»

Кажется, самое неловкое из всех его положений – в русской эмиграции. Меньше всего он то, чем мы его сделали, – Ной в ковчеге, Моисей в пустыне, вождь и пророк нового Израиля.

Вторая причина его затмения – общая. Вот уже десять лет вся Европа, весь мир – в том же затмении, по той же причине.

Сделанное большевиками в России кажется «государством»; делаемое ими в Европе, в мире, кажется «политикой». Но это обман, вовсе не государство и не политика, а только их личина, подобие, обман глаз, как в притворстве насекомых, мимикрии, когда червяк притворяется сучком, бабочка – листиком.

Всякое государство, всякое общество зиждется на каком-нибудь категорическом императиве, непререкаемом догмате, отделяющем должное от недолжного, – источнике всех юридических норм. Даже в древних деспотиях был такой догмат;

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
даже деспот знал, что ему не все позволено, и что власть его ограничена  
какою-то высшей властью.

Ничего подобного нет у русских коммунистов. Единственный догмат их – отрицание всех – догматов; единственный абсолют – отрицание всех абсолютов. «Прав» и «законов» у них сколько угодно; но все они отменяются по произволу власти; и даже на свою скрижаль – социализм, коммунизм – плюют они с такою легкостью, что стоит только взглянуться во все эти «права» и «законы», чтобы увидеть обман глаз – «мимикрию».

На всякого человека и даже на зверя есть внутренняя узда, удерж – то, чего он не сделает, перед чем остановится: и волк не загрызет своей волчицы; и змея своих черев не ест. Вот этой-то узды нет на русских коммунистов: они безгранично свободны, могут все, проходят сквозь все, не встречая на пути своем преграды. Эти «человекообразные» врезаются в человечество, как нож в тело.

Всякое общество зиждется на более или менее сознательной и действенной воле к добру, бытию, созиданию. Русский коммунизм – первое человеческое общество, основанное на совершенно сознательной и действенной воле к злу, небытию, разрушению. Все у них обман, кроме этого. Снявшийся Герцену всемирный разрушитель, «новый Тамерлан, с железными дорогами и телеграфами», пришел-таки в мир, в лице не русских коммунистов, а того, кто стоит за ними и двигает ими, как пешками, – в лице «страшного и умного Духа Небытия».

С плоскости милюковской, позитивной, Дух этот невидим, и здесь, может быть, главная сила коммунистов: они видят всех – их не видит никто.

Мнимое государство, советская власть, – действительная машина для разрушения всех государств, адская машина такой силы, что, если она сама не будет разрушена, то может разрушить весь человеческий мир.

Что же это такое? «Международная шайка разбойников и мошенников», как любят выражаться газетные обличители? Да, это, но не только это. С шайкой давно бы справились, а когда справятся с этим, еще неизвестно.

Чтобы понять, что такое русские коммунисты, надо понять, что такое «бесы» Достоевского. Эти бесчисленно размножившиеся Петры Верховенские и Шигалевы, с их историческим прообразом, Нечаевым, истинным отцом большевизма, – изуверы или садисты, страдающие невиданной формой «нравственного помешательства», *moral insanity*, с точки зрения позитивной, а с религиозной – в самом деле, «бесноватые». Сколько их, захвативших власть над бывшей Россией, шестой частью земной суши, – сотня, тысяча, миллион? Сколько бы ни было, их власть – небывалое за память человечества воплощение Абсолютного Зла, – того, что верующие называют «Дьяволом». Их мнимая «политика» – действительная религия дьявола, их мнимое «государство» – действительная церковь Антихриста.

Так весь наш спор о непримиримости и соглашательстве переносится из политики в религию, из государства в церковь.

В церкви посланием митр. Сергия этот вопрос поставлен перед русской эмиграцией с такой остротой, как еще никогда. В церкви мы и должны выбрать наш путь в Россию.

## II. В ЦЕРКВИ

Чтобы понять, что значит послание митр. Сергия для русской церкви, надо, повторяю, помнить, что советская «политика» вовсе не политика, а «религия»; что советское «государство» вовсе не государство, а «церковь»: религия дьявола, церковь Антихриста.

«Антихрист», «дьявол» – для неверующих устаревшие мифологические пугала, или, в лучшем случае, безличные метафизические сущности, а для верующих – страшно-реальные существа – лица. Если Бог личен, то и дьявол; если Христос был лицом историческим, то и Антихрист будет таким же историческим лицом.

Это непонятно и даже просто невидимо большинству современных людей: «Стыдно-де в наш просвещенный век верить в черта». Вспомните бред Ивана Карамазова: «Меня нет, я – ничто, я – твой бред», – в этом тончайший

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
соблазн черта. Небытие трансцендентное притворяется небытием эмпирическим, чтобы ко всякой сущей единице, в нашей земной арифметике, прилепиться неземным нулем.

В этом страшная сила коммунизма – сатанизма, и слабость почти всех его противников: они просто не знают с кем борются.

Я не сомневаюсь, что многие русские люди, даже неверующие, но побывавшие в лапах большевицкого дьявола, поймут, как страшно-действительно, почти осязательно то, о чем я сейчас говорю. Это начинает понимать и кое кто из европейцев.

Шарль Саролеа, профессор Эдинбургского университета, в своей книге о советской России говорит: «Русский коммунизм есть нечто гораздо большее, чем только экономическое учение или политическая система; это своего рода религия, ставящая первейшей своей задачей сокрушение всех иных религий, и, прежде всего, своей противоположности – христианства» («Что я видел в советской России», французский перевод; Nachine, Paris, 1925, p. 90–91). «Царство Антихриста» – назвал Саролеа первую главу своей книги.

Зрячих людей в Европе сейчас мало; но надо надеяться, будет все больше. Во всяком случае, настоящая борьба с коммунизмом начнется только тогда, когда их будет достаточно.

Будем же помнить, вдумываясь в послание митр. Сергия, что русский коммунизм, не в каком-либо далеком и переносном, а в самом прямом и близком, страшно действительном, почти осязательном смысле есть «царство и церковь Антихриста», религия дьявола.

«В совершающемся у нас... действует десница Божия, неуклонно ведущая каждый народ к предназначенной ему цели», – говорит митр. Сергий и утверждает, что только преждевременная кончина и выступление зарубежных врагов советского государства помешали Патриарху Тихону довершить дело его – «дать церкви возможность законного и мирного существования» в советском государстве. «Ныне пал на меня, митр. Сергия, долг продолжить дело почившего... и усилия мои как будто не остаются бесплодными... Мы почти у самой цели наших стремлений... Вознесем же наши благодарственные молитвы ко Господу, тако благоволившему о святой нашей церкви! Выразим всенародно нашу благодарность и советскому правительству за такое внимание к духовным нуждам православного населения, а вместе с тем, заверим правительство, что мы не употребим во зло оказанного нам доверия».

И, в заключение, требование от зарубежного духовенства «письменного обязательства в лояльности к советскому правительству», и угроза, что не давшие его будут исключены из клира.

После торжественных слов из апостола Павла, после церковно-славянского возгласа: «Вознесем же наши молитвы ко Господу!» вдруг это не-церковное, не-русское, интернациональное словечко «лояльность», точно прямо из уст Бухарина, Сталина, Троцкого. Можно бы сказать церковно-пристойно: «послушание власти». Но, вот, не сказалось: «лояльность» проще, понятнее, политичнее... Точно выглянуло вдруг из-за спины митр. Сергия чье-то знакомое лицо, – уж не того ли чекиста, который заманил, отравил Савинкова и выбросил труп его из окна? То же хотели и они сделать с русской эмиграцией, а теперь хотят сделать и с русской церковью.

Да, все это так просто, грубо, «лубочно», что даже самые простые люди сразу поняли, в чем дело. Поняли даже европейцы, далекие от русских церковных дел.

В мюнхенском журнале «Simplicissimus» появилась карикатура: на церковном амвоне стоят как бы две иконы – православный иерарх в митре, с крестом в руке, и чекист с кнутом и наганом, а перед ними – коленопреклоненный, молящийся русский мужик. «Веры хватит у него на обоих, – согласимся же», – говорят друг другу иконообразные. Смех иногда глубже заглядывает в страшное, чем страх.

Кажется, митр. Сергия постигла та же участь, как Милюкова: был и он рожден для «эволюции», а попал в «революцию» и оказался в положении трансцендентно-неловком. Но Милюков ходит по земле и, если упадет, отделается легкими ушибами, а митр. Сергий ходит так высоко, что страшно

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
подумать, куда он упадет и что уронит.

Перед посланием митр. Сергия появилось «обращение к советской власти православных епископов с Соловецких островов». Между этими двумя голосами церкви такое абсолютное противоречие, что истина может быть только на одной стороне.

Митр. Сергий возносит благодарственные молитвы за милости, оказанные церкви советской властью, а вот что говорят соловецкие узники: «Православная церковь не может засвидетельствовать, что религия в пределах союза не подвергается стеснениям... Церковь не скажет вслух всему миру этой позорной лжи».

Митр. Сергий полагает, что «десница Божия» утвердила советскую власть, а потому православная церковь должна «не за страх, а за совесть» соединиться с этой «богоустановленной» властью; а вот, что говорят епископы: «Церковь верит в живого Бога Творца; коммунизм не допускает Его существования... Церковь видит в религии животворящую силу... Коммунизм смотрит на нее, как на опиум, опьяняющий народы... Церковь хочет процветания религии; коммунизм ее уничтожения. При таком расхождении между церковью и государством не может быть никакого внутреннего сближения или примирения... Жалкие попытки в этом роде были сделаны обновленцами... Православная церковь никогда не станет на этот недостойный путь».

«Путь митр. Сергия», – можно бы теперь прибавить.

Первым движением Милюкова, после послания, было кинуться навстречу митр. Сергию, чтобы подчиниться, согласиться, подписать обеими руками обязательство в «лояльности». Слишком велик был соблазн продолжить линию соглашательства от политики к религии, от временного к вечному.

Что же, однако, было делать с обращением соловецких епископов? Как примирить его с посланием митр. Сергия? Очень просто: «Тут противоречия быть не может», объявили «Последние новости» и, пожалев, что обращение епископов «не обратило на себя должного внимания», сами его, однако, не напечатали и хорошо сделали: многие, прочитав его, могли бы и не поверить, что абсолютное «да» не противоречит абсолютному «нет», что религия Бога тождественна с религией дьявола и тогда произошел бы опять «скверный анекдот» во вкусе Достоевского: «Последние новости» оказались бы в трансцендентно-неловком положении того мужичка на карикатуре, коленопреклоненного между крестом Господним и чекистским кнутом: «Веры хватит у него на обоих, – согласимся же!»

Видя, однако, общее негодование не только светских, но и церковных кругов, «Последние новости», кажется, сами поняли, что поторопились и что дело неладно. На помощь был призван спец по церковным делам. «Мы с удовольствием помещаем статью г. Бердяева: „Вопль русской церкви“. Не будучи органом конфессиональной мысли... Это, пожалуй, слишком слабо сказано; надо бы сказать: «будучи органом атеистической мысли». Милюков достаточно умен и честен, чтобы не скрывать своих убеждений.

Как бы то ни было, «Вопль церкви» в «Последних новостях», произвел впечатление несколько странное, тем более, что «профессор» Бердяев, – так назвал его один почтительный варшавский интервьюер, и это к нему очень идет, – «профессор» Бердяев не объяснил, чьими устами вопит церковь из советского ада – устами ли митр. Сергия, который видит «Десницу Божью» в насаждении и процветании советской власти, или устами самого Бердяева, что, по многим причинам, тоже довольно странно. Еще более странно то, с какой легкостью он взвешивает венцы мучеников и с какой точностью определяет, что кровавый венец митр. Вениамина менее тяжел, чем бескровный – Патриарха Тихона; с какой легкостью решает, что «православная церковь в эмиграции не мученическая церковь и даже не знает, что такое мученичество»: этого будто бы здешняя церковь-дочь не знает, зная, что за нее мучают и убивают в России церковь-мать, заложницу; с какой легкостью решает он, что митр. Сергий, соглашаясь с советской властью, приносит не меньшую «жертву», чем св. Александр Невский, «когда он ездил в Ханскую орду»; в том, что Невский поехал бы и в орду советскую, Бердяев не сомневается.

Твердо знает он, что «церковь может существовать при какой угодно природно-исторической среде», а следовательно, может «примириться и с коммунизмом, стремясь его христианизировать».

Тут уже и атеист Милюков слегка возмущен, и надо ему отдать справедливость, оказался религиознее, бережнее к церкви, чем автор «Вопля»: «Автор, по нашему мнению, чересчур далеко идет в своем утверждении, что для церкви безразлична та или другая „природно-историческая среда“», – справедливо заметил Милюков: среда-де среде рознь, и нельзя их все валить в одну кучу; церковь иначе относилась к государству Константина (Равноапостольного), чем к государству Юлиана (Отступника), – а следовательно, – этого вывода, впрочем, Милюков не делает, – должна бы иначе отнестись к большевицкой «сатанократии», чем к таким попыткам христианской теократии, как западная, Римская, и восточная, Византийская империя.

«В русском коммунизме дан первый пример сатанократического государства», – это слова Бердяева, сказанные два года назад и не взятые им обратно («Путь», № 1. С. 51). Что же значит «христианизировать» сатанократию – обращать сатану во Христа? Что значит: «члены православной церкви могут быть и коммунистами»? Если коммунизм – сатанизм, не значит ли это: «члены православной церкви могут быть и сатанистами»? Религиозное существо коммунизма – атеизм вообще и антихристианство в частности: «христианизировать» его, значит уничтожить. Неужели Бердяев полагает, что коммунисты такие дураки, чтобы на это согласиться?

Но спорить с ним бесполезно: не только из года в год, но с минуты на минуту, из строки в строку, он соединяет все абсолютные «да» со всеми абсолютными «нет», глотая противоречия с такою же легкостью, как известные «профессора оккультных наук» глотают шпаги.

Все же «Последние новости» «с удовольствием» поместили статью Бердяева, потому что, несмотря на весь ее оккультный туман, вывод был ясен: соглашение с советскою властью не только в политике, но и в религии: «Это будет нашим духовным возвращением на родину», – заключал Бердяев.

«Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Что значит «лукавый»? Значит: излучистый, извилистый, виляющий, как змей, говорящий «да» и «нет» – ни «да», ни «нет»; вечный сводник, примиритель, соглашатель, строитель всех гнилых мостов: ступишь – провалишься.

Бердяев, впрочем, не провалится. Он, в противоположность Милюкову, – человек трансцендентной ловкости: ходит безопасно не только по всем гнилым мостам, но и по канатам, балансируя между небом и адом, с акробатическою ловкостью. Как сказал один умный человек об одном неумном поэте: «Хлестаков, залетевший в надзвездные пространства».

Наступила роковая минута: вечные судьбы русской эмиграции, русской совести в изгнании, должны были решиться вечным голосом церкви. Ей надо было ответить прямо на прямой вопрос: мир или меч, непримиримость или соглашательство? Надо было ответить на кощунственный вопрос, не митр. Сергия, а того, кто стоял за ним: с кем церковь – со Христом или с Антихристом?

И митр. Евлогий ответил, – все знают что. Кажется, в данную минуту, при данных обстоятельствах, ответ был правильный. Самое трудное было найти меру того, за что мы все – не только сильные, но и слабые – могли бы, ответить всю нашу веру в Бога, всю муку нашего изгнания и всю любовь к России. Кажется, мера эта была найдена.

Но вот что странно: никто не увидел в ответе противоречия, такого очевидного, что, казалось бы, нельзя его не увидеть. Исходя из «невмешательства церкви в политику», митр. Евлогий тут же совершает очень определенное политическое действие, отказывая в «лояльности» к советской власти. Ведь соглашается ли церковь повиноваться какой-либо государственной власти или не соглашается, это в обоих случаях одинаково – вольное или невольное, сознательное или бессознательное, но несомненное, политическое действие.

Представьте себе, что человек с наганом спрашивает человека с крестом: «Будешь ли мне повиноваться?» Если человек с крестом ответит: «Я не вмешиваюсь в политику», то человек с наганом не обратит на это никакого внимания и повторит вопрос: «Будешь ли повиноваться мне, да или нет?» И, если тот ответит: «нет», то этот сейчас же даст ему понять, что он

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
«вмешался в политику».

Или, представьте себе, что древнеримский чиновник велит христианину бросить несколько зерен ладона на жертвенник бога Кесаря. Divus Caesar; если тот их бросит, чиновник отпустит его, а если нет, – казнит, как политического преступника, и будет, по-своему, прав, потому что неповиновение властям есть политическое действие, и тут опять «невмешательство в политику» ничему не помогает – просто идет мимо вопроса.

Нечто подобное произошло и в ответ митр. Евлогия. На прямой вопрос того, кто стоит за спиной митр. Сергия: «Будешь ли мне повиноваться, да или нет?», митр. Евлогий ответил «нет», – пусть робким, чуть слышным, замирающим шепотом, потому что всякое громкое слово могло отозваться кровавым ударом на теле церкви-матери, заложницы, – но ведь и самое тихое «нет» есть «нет», а не «да». Это хорошо понимают люди власти: бунт тишайший для них иногда страшнее самого громкого.

Как же, однако, никто не заметил такого очевидного противоречия? Может быть, оттого и не заметили, что противоречие слишком очевидно, естественно, привычно, жизненно: можно сказать, вся ткань жизни состоит из таких противоречий.

Что такое в последнем счете «политика»? Гражданственность, общественность, – то, что соединяет людей в общество. Шагу нельзя ступить, дохнуть нельзя живому человеку вне общества, вне политики, особенно, в такое политически-возбужденное время, как наше. Может ли церковь, будучи сама обществом, быть вне общества? Это значило бы для нее оказаться в безвоздушном пространстве – не дышать, не жить, не быть. Такая противоестественная «аполитичность», «анархичность» – состояние вовсе не христианское, а толстовское или буддийское. Надо ли напоминать, что тут речь идет не о преходящих формах, а о вечном существе политики, как строения Полиса – Града человеческого, который должен быть основанием Града Божьего, и что отказаться от этого значило бы для церкви от самой себя отказаться?

Кажется, все так и поняли ответ митр. Евлогия, – потому-то и не увидели в нем противоречия, просто закрыли на него глаза. Мягким пухом «невмешательства» окутан был острый нож «неповиновения»: пух – чтобы не ранить церкви-матери; нож – чтобы ранить советскую власть в самое сердце, ибо неповиновение для всякой власти – нож в сердце.

Так все поняли и не могли иначе. «Ответ митр. Евлогия – не суждение, а действие, – хорошо определил просто верующий человек. – Мы с Тихоновской церковью – церковно, а политически – в разрыве, доколе не исчезнет рука сатанинской власти» (И. Никаноров, «Возрождение», 16 сентября 1927 г.).

Да, ответ митр. Евлогия есть бесповоротно решающее и – скажу не церковным, но религиозно-глубоким словом – революционное действие. Действие бесповоротное: если бы случилось, не дай Бог, такое огромное несчастье, что митр. Евлогий пожелал бы взять свой ответ обратно, то он уже не мог бы этого сделать. В церкви, в религии, меньше, чем где-либо, можно отвечать на один и тот же вопрос, сначала «да», а потом «нет»: тут все «да» и «нет» бесповоротны. И еще потому не мог бы он этого сделать, что говорил не только от своего лица, но и от нашего – от лица всей паствы, а мы от нашего действия никогда не откажемся, не впадем по верному слову соловецких епископов, в «обновленческую» ересь – в соглашение Христа с Антихристом.

«Мир или меч?» На этот вопрос всей русской эмиграции, русской совести в изгнании, голос церкви ответил: «Меч». Линия соглашательства, начатая в политике, оборвалась в религии. Здесь мы снова нашли единство воли, утраченное в политике; вспомнили снова, чего бы никогда не должны забывать, – что у нас у всех одна Россия – враг один, и чуть ли не в первый раз повернулись все одним фронтом к врагу. О если бы навсегда, если бы прозрел и окреп окончательно слепой исполин!

Мы поняли, что церковь – наше спасение, наш ковчег в потоке, наш огненный столп в пустыне. «Церковь жива – жива душа моя», – могла бы сказать вся русская эмиграция.

Но мы должны понять и то, что великое дело церкви – утверждение абсолютной непримиримости – только начато и, чтобы могло быть кончено, должно



Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
избегнуть великих соблазнов.

Главный соблазн – тот, который мы только что видели: «невмешательство церкви в политику» или «отделение церкви от государства». Формула эта, найденная так называемой «просветительной» философией XVIII века, враждебной к церкви, к христианству, к религии вообще, подхвачена еще более к ним враждебной французской революцией, от которой и получили ее в наследство современные демократии.

Соблазн ее в том, что церковью отделение от государства понимается, как освобождение от государственного ига, а советской властью, как освобождение от ига церковного. Но всякий договор, чтобы иметь смысл, должен быть обоюдным: если церковь не вмешивается в политику, дела государства, то и оно не вмешивается в религию, дела церкви. Очень редко и трудно такое обоюдное соблюдение договора даже в современных, более или менее свободных, демократиях, а в советской деспотии оно совсем невозможно: «церковь Антихриста» не может не разрушать церкви Христовой; отказаться от этого значило бы для нее от себя отказаться, перестать быть собою.

Формулу «отделение церкви от государства» советская власть нашла в арсенале демократических формул и, грубо исказив ее, как все в демократии, воспользовалась ею, как оружием против церкви: потребовала от нее «невмешательства в политику», чтобы тем удобнее, вмешиваясь в религию, разрушать церковь изнутри. Ей руки связала – развязала себе. «Руки вверх!» перед грабежом и убийством – вот что значит в устах советской власти «невмешательство».

Это Патриарх Тихон испытал на себе вполне; от этого он и умер, как мученик. Умер, чтобы спасти церковь. Начал спасать, но не кончил. Чтобы церковь спасти, ей надо преодолеть соблазн, предначертанный Петру-Камню: «Когда ты был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состареешься, то прострешь руки твои, и другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь» (Иоанн. 21, 18). Пленение церкви советскою властью и есть это препоясание Антихристом.

Вечный вопрос об отношении церкви к государству входит, как часть в целое, в более общий вопрос об отношении христианства к земле, к плоти, к миру. Что такое христианство, в своей глубочайшей, богооткровенной сущности, – мироотрицание или мироутверждение?

«Царство Мое не от мира сего». Чтобы понять, что это значит, надо вспомнить, когда и кому это сказано.

«Пилат призвал Иисуса и сказал Ему: Ты царь Иудейский?»

Иисус отвечал ему: от себя ли ты говоришь это или другие сказали тебе обо мне?

Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал?

Иисус отвечал: царство Мое не от мира сего; если бы от мира сего было царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан иудеями; но ныне царство Мое не отсюда» (Иоан. 18, 33–36).

Кажется, греческое ??? определеннее, чем русское «ныне»; точнее передает его славянское «днесь» – «сегодня», «сейчас», «Царство Мое сейчас не от мира сего». Вторая, умолчанная половина мысли ясна: «Но наступит день, когда царство Мое придет в мир».

Самое важное, все определяющее слово «ныне», выпало из христианского сознания, оказалось пустым, и опустошилась вся мысль, исказилась до своей противоположности: «Царство Мое не от мира сего не только ныне, но и во веки веков». То, подлинное слово от этого, искаженного, – как небо от земли. В самом сердце христианства начался буддийский уклон: «мир, как представление», – обман; «мир, как воля», – зло. В самом сердце христианства восторжествовал – о, конечно, только на время! – «умный и страшный Дух небытия».

Все решающее «ныне» в слове Господнем о царстве христианском не услышано; но, кажется, кое-что услышал Пилат: иначе не повторил бы своего вопроса еще

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
настойчивее, вглядываясь с удивлением в стоявшего перед ним «Царя  
Иудейского».

«Итак, Ты царь? – Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине» (Иоанн. 18, 37).

Истина Царя Христа – Евангелие, «благая весть» о Царстве Божьем, «Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Воля Божия, царство Божие – не только на небе, но и на земле. Это и значит: «Днесь царство Мое не от мира, но в мир идет».

«Мир весь во зле лежит», но мир не зло: мир Божий – создание Божие. Может ли быть земля проклята, если Бог сошел на землю? Может ли быть проклята плоть, если Слово стало плотью? Может ли быть мир проклят, если так возлюбил Бог мир, что Сына Своего Единородного отдал за мир?

«Часть мира – политика, Полис, гражданственность – Град человеческий, основание Града Божьего. Если мир во Христе будет свят, то и эта часть мира, политика, тоже».

«Церковь вне политики»? Нет, над нею, как солнце над землей. Солнце животворит землю: так и церковь – политику. Если бы солнце ушло от земли, земля умерла бы: так умирает без церкви политика. Церковь «не вмешивается» в нее, как одна из низших взаимно враждующих сил, но господствует над ней, как высшая сила, все примиряющая и управляющая всем.

Но чтобы сделаться такою силою, церковь должна преодолеть в себе мироотрицающий, буддийский соблазн. Когда мы молимся: «да будет воля Твоя и на земле, как на небе», смысл неба нам ясен, но темен смысл земли. Жива и действительна в христианстве только небесная динамика, а земная – почти мертва. Правда о небе слышится в нем, как трубный глас, а правда о земле, как замирающий шепот. Царство Божье на небе, а на земле царство дьявола: так поняли – так сделали.

«Положение русского благочестия в настоящее время чрезвычайно; для всего христианства наступает пора не только словом, в учении, но и делом показать, что в церкви заключается не один загробный идеал; наступает время открыть сокровенную в христианстве правду о земле». Это не я говорю, – это говорил двадцать шесть лет назад Валентин Александрович Тернавцев, православнейший из православных, церковник из церковников, русский пророк, почти неведомый, но не меньший, чем Вл. Соловьев и Чаадаев.

«Отсутствие религиозно-социальных идеалов у церкви есть главная причина безвыходности ее положения. Скованная извне худшими и тягостнейшими формами приказно-бюрократических порядков (самодержавия), церковь бессильна справиться и со своими внутренними задачами. Все старания ее разбиваются о безземность ее основного учительского направления. В положении, исторически унаследованном церковью от прошлого, невозможно никакие улучшения, без веры в богозаветную положительную цену общественного дела... Здесь для русской церкви открывается, наконец, возможность выхода „на широту земли“, из поместной, удушающей тесноты – на великий простор мирового служения». – «Религиозное учение о государстве, о светской власти, общественное спасение во Христе, – вот о чем свидетельствовать теперь наступает время. Это должно совершиться „в устроение полноты времен“, дабы, по слову Апостола, „все небесное и земное соединить под главою Христом“. Это и будет началом религиозно-общественного возрождения России» («Новый путь», № 1. 1902).

Это было сказано в Религиозно-философском Собрании 29 ноября 1901 года. Председателем Собрания был тогдашний епископ Ямбургский, нынешний митрополит Нижегородский, Сергей, «заместитель местоблюстителя патриаршего престола».

Помню, как сейчас, лицо его, круглое, мягкое, бледное, еще молодое, но уже старообразное, как бы старушечье: такие лица бывают у молодых ученых монахов-академиков; помню бледные глаза его, с чуть-чуть насмешливым взором из-под очков; но особенно помню его улыбку. Я все хотел и не мог понять, что в этой кроткой улыбке, «не от мира сего», такое далекое, чуждое, почти страшное.

Наши собрания происходили в зале Географического общества на Фонтанке у Чернышева моста. В углу залы стояло закутанное темным коленкором,

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
гигантское изваяние Будды, привезенное кем-то в дар Обществу, из глубин Тибета. Как-то раз мы отдернули коленкор и заглянули в золотое лицо: на плоских губах его была та же кроткая улыбка, «не от мира сего», как у еп. Сергия, – и вдруг я понял.

«Я не согласен, чтобы церкви нужно было поставить новую задачу и цель – раскрытие правды о земле, – отвечал еп. Сергий на речь Тернавцева. – Эта цель может быть достигнута и при наличных церковных идеалах. Когда представители церкви устремлялись к небесному, то, вместе с тем, достигали и земного... Христианство не может отречься от неба... но, изрекая свое исповедание небесного идеала, оно тем самым, конечно... и так далее, все в том же буддийском роде.

Темная тяжесть навалилась, как подушка, на собрание. Бедный Тернавцев потух; потухали, казалось, и огни в зале. А бледное лицо еп. Сергия улыбалось кроткой улыбкой, «не от мира сего», и так же улыбалось под темным коленкором золотое лицо Будды.

Четверть века прошло, – четверть века, может быть, самые страшные в истории не только России, но и всего христианского человечества, и вот, тот же вопрос о земле, но еще неотразимее, стоит перед церковью. «Может ли статься, что вопросы действительные, роковые – есть, и нет отвечающих?» – как тогда воскликнул Тернавцев.

Отплыла мировая война, совершилась русская революция – «Апокалипсис наших дней»; голосами громов повторено было тихое слово пророка, но и в громах не услышано. Как сказали, так и сделали: царство Божье – на небе, а на земле – царство дьявола.

Страшно, апокалипсически раздвинулись стены той маленькой залы Географического общества, и собрание наше – состязание мира с церковью – все еще как будто продолжается, но в каких исполинских, тоже апокалипсических, размерах!

И вот, через эти страшные четверть века – через мировую войну, революцию, гибель России, наступающее царство Антихриста – мне хочется спросить нашего председателя, еп. Сергия:

– Помните, владыка, наше собрание 29 ноября 1901 года? Помните, что говорил тогда В. А. Тернавцев и что вы ему ответили? Неужели и теперь, видя обступившую вас сатанинскую ложь, вы все еще не поняли что Божья правда о земле церкви нужна?

Хочется спросить, но знаю, – бесполезно: так же как тогда, ничего не ответит мне спрошенный, только улыбнется кроткой улыбкой, «не от мира сего», и над ним улыбнется золотой исполин под темным покровом, «умный и страшный Дух Небытия».

Что же делать церкви? Не будем говорить: «церковь должна сделать»; скажем: «мы сами должны». Церковь больше клира, священства, иерархии, церковь – мир и клир, паства и пастыри вместе. Паства ничего не может без пастырей, но и они без нее не могут ничего. Паства – не глупое стадо овец, загоняемое палкою в хлев, а разумное общество людей, свободно идущее на голос Единого Пастыря. Православная церковь знает это лучше других церквей, потому что в ней начало соборное живее, чем в других церквях. Церковь – не только священство, но и пророчество; не только Тело Христово но и Дух: «Дух дышит, где хочет», и в мире иногда – сильнее, чем в клире. Церковь – Тело Христово – окружена божественною славою, как таинственным свечением, далеко излучающимся в мир: кто входит в этот свет, тот уже в церкви. Православие значит «истинная слава», «истинный свет». Церковь – мы все православные, исповедывающие Свет Истинный, Христа, пришедшего во плоти, Единородного Сына Божьего.

Будем же помнить, что когда мы говорим: «церковь должна сделать», это значит: «мы должны».

Первое, что мы должны сделать, – скажу грубо, простонародно, понятно, – произнести над советскою властью анафему.

Я знаю, что это грубое слово ранит изнеженный слух. Пусть. Лучше ранящая истина, чем нежащая ложь. А что советская власть – Богом проклята, достойна

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
«анафемы», если не в церковно-каноническом, то в народно-историческом смысле, – это для всех, даже для неверующих, такая очевидная истина, что совесть мира должна будет согласиться с нею, только что услышать ее из уст церкви.

Я знаю также, что в строго каноническом смысле церковь не может анафематствовать тех, кто не в церкви. Но эта новая «анафема» должна иметь и новый, пророческий смысл, – быть Божьим судом не над людьми, а над Духом, воплощенным в людях; обличить все еще от многих, даже верующих, скрытое, сатанинское существо коммунизма.

Только такая анафема нарушит, наконец, страшное молчание как бы замороженного мира и еще более страшное молчание церквей. Вот уже десять лет, как «тайна беззакония» совершается, наступает «царство Антихриста», а мир об этом не знает. Но чем глубже молчание мира, тем громче будет голос церкви: он грянет, как гром, и его услышит весь мир.

Миру нужен этот голос, еще нужнее России, но, может быть, всего нужнее нам, русскому рассеянию. То, что мы говорим голосами человеческими в политике, должно быть сказано вечным голосом церкви, в религии.

Некогда церковь благословляла меч крестоносцев на войну с неверными; если тогда крест был мечом, то тем более теперь, – в войне с Антихристом. Нашим крестом-мечом и будет церковная анафема советской власти.

Второе дело церкви – наше дело – «раскрытие сокровенной в христианстве, правды о земле».

В будущей России государственность без церкви не построится. Муки России не будут искуплены, если то небывалое, что в ней произошло, не даст и плода небывалого. Для того ли Россия распята, чтобы, сойдя с креста, снова начать ветхую жизнь на ветхой земле. Европейская демократия – хорошая вещь, но такой цены, как наша Голгофа, не стоит. Нет, или России совсем не будет, или будет, в самом деле новая, в меру мук своих, великая Россия. «Камень, который отвергли строители, сделается главою угла». Этот Камень – Церковь. Только на ней и построится будущая русская государственность – Град человеческий, основание Града Божьего.

Третье дело церкви – наше дело – «выход на широту земли, на великий простор мирового служения».

Русский коммунизм – «церковь Антихриста» – утверждает себя в Интернационале, как «церковь вселенскую». Ей может быть противопоставлена не одна из поместных, национальных церквей, а только вселенская Церковь Христова. Или, говоря языком историческим: чтобы христианство могло победить коммунизм, должно произойти «соединение церквей».

Кто его начнет – Запад или Восток, Св. Петр или Св. София? Путь церквей ко всемирности – путь крестный; их царственный пурпур – кровь исповедников и мучеников. С первых веков христианства ни одна из церквей не шла таким крестным путем, не облекалась таким кровавым пурпуром, как сейчас православная, русская церковь. Судя по этим признакам, первенство мирового служения принадлежит ей. Церковь Восточная, так же как Западная, всегда называла себя «кафолическою», «вселенскою», но, в действительности, была доньше лишь сонмом поместных, национальных церквей. Наступает время начать восхождение в ту высшую сферу, где церкви соединятся, не поглощая, а восполняя друг друга, как члены единого Тела Христова – Церкви Вселенской. Только она и сможет бороться с Интернационалом – всемирною «церковью Антихриста».

Эти три дела церкви – наши три дела – так велики, что страшно о них и подумать. Может ли человек взять на себя такие дела? Нет. Но Бог может все. А если сейчас в Бога не верить, то лучше и не начинать войны, лучше сразу помириться, согласиться с красным дьяволом; сразу сказать: «Человек был, homo fuit; отныне – человекообразные».

Да не будет! «жив Господь, жива душа моя», – может быть, скажет и все христианское человечество, как мы говорим.

Есть у нас и другое утешение. Судя по тому, что происходит сейчас не только в России, но и во всем мире, – какой-то великий всемирно-исторический цикл

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
кончается и начинается другой, уже за-исторический, – тот, который христиане называют «Апокалипсисом». В этом новом цикле исторические дали сдвигаются – «преходит образ мира сего» – времена и сроки сокращаются, очень далекое становится близким. Может быть, и наше дело – дело Церкви – ближе, чем мы думаем.

Сделать что-нибудь мы сможем только в России; но уже и сейчас, в изгнании, мы должны начать делать, чтобы не вернуться в Россию ни с чем. Мы должны помнить, что «соглашателям» лучше не возвращаться в нее: она их не примет. Мы должны помнить, что только под знаком непримиримости, под знаменем Креста-Меча, только через Церковь Православную и Вселенскую, – наш путь в Россию.

ЗАХОЛУСТЬЕ ИТОГИ маленькой полемики [27]

Боже, как грустна наша Россия!  
Пушкин  
...мудрость нам единая дана:  
Всему живущему идти путем зерна.  
В. Ходасевич  
I

«О, несмысленные Галаты!.. Если вы друг друга угрызаете и съедаете, то берегитесь, как бы вам не истребить друг друга». Это предостережение апостола Павла следовало бы помнить русским изгнанникам.

Все мы связаны общей судьбой: как потерпевшие кораблекрушение на необитаемом острове или плавучей льдине, вместе погибнем или вместе спасемся. Если же разделившись на два стана, правый и левый, начнем сражаться, – зыбкая льдина под нами зашатается, опрокинется, все равно, в какую сторону, левую или правую, – и мы погибнем, наверное, глупо и жалко. Это мы слишком легко забываем. «Русские люди друг друга едят и тем сыты бывают», по горькому слову Крижанича. Надо ли напоминать, кто этому сейчас радуется? Да, и сколько бы мы ни разделялись, ни сражались, – все мы, от монархистов до социалистов, от Струве до Керенского, для наших врагов – одно существо – «контрреволюция» по-ихнему, революция, по-нашему: одно тело, одна душа, как бы один человек. Человек, в малодушном отчаянии, может себя ненавидеть, грызть, бить, даже убить, но не может разделиться надвое, перестать быть одним человеком; так и мы этого не можем, но хотим, и все для этого делаем. И надо ли опять-таки напоминать, кто этому радуется?

Мысли эти, казалось бы, такие старые, скучные, известные, но вот, все еще удивляющие, пробудила во мне полемика вокруг моей статьи – лекции «Наш путь в Россию», и, признаюсь, нашло на меня сомнение, не провинился ли я в чем-нибудь, не дал ли сам повода к этой маленькой полемике, потому что их две: одна – большая, нужная, не личная; другая – маленькая, личная, не нужная. Было бы неестественно, кладбищенскому миру подобно, если бы все во всем раз навсегда согласились и так замерли; если бы живые люди не расходились в живых мыслях, чувствах и воле, не спорили и не боролись из-за власти живых идей. «Ибо надлежит быть между вами и разногласьям, дабы открылись искусные», по слову того же апостола Павла, предостерегающего несмысленных Галатов от взаимного истребления.

Но даже в большом и нужном споре, по существу, отделить общее от личного иногда очень трудно, – особенно нам, так страшно стесненным на плавучей льдине, так близко видящим друг друга в лицо. Все мы, как раненые на одной койке: пошевелиться нельзя, чтобы не задеть лежащего рядом и не сделать ему больно. Тут нужна – не будем говорить высоких слов о любви – величайшая осторожность, внимательность, и просто человеческая жалость друг к другу, непрестанная память о том, что все мы одно тело, одна душа, и рая другого, я раню себя, а, главное, нужно чувство меры величайшее.

Я знаю, как оно трудно, иногда почти невозможно, в полемике-борьбе, где все движенья слишком быстры и потому немерны. Глупо считать себя непогрешимым: делать что-нибудь, значит ошибаться в чем-нибудь, нарушать меру. Ошибаюсь, конечно, и я, и как бы я рад был увидеть свою ошибку, чтобы загладить ее, устранив из спора все личное, ненужное, начать бороться не за себя, а за свое и за наше, общее. Воля к такому спору, – говорю по крайнему разумению и крайней совести, – у меня была, есть и будет.

Я знаю, как мало я сделал и как мне нужна помощь; я жду ее и буду ждать,

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
вопреки всем разочарованиям.

Что я сделал? Поднял вопросы? Нет, только увидел и указал, как сами они поднимаются, огромные; обступают и хватают нас за горло, неумолимые. Главный из них, неумолимейший – о последнем смысле того, что произошло и происходит в России: только ли этот смысл социальный и политический, или также религиозный, борьба христианства с антихристианством, или, говоря языком «мифологии» для одних, для других «эсхатологии», – реальнейшего, религиозно-исторического опыта-знания о «последних вещах», о концах и пределах всемирной истории, – глубочайший смысл нашей русской катастрофы, и может быть, не только нашей, – не наступающее ли «царство Антихриста»?

Что-то появилось на горизонте. Все говорят: «облака», я говорю: «горы». Очень важно знать, что же это, на самом деле, потому что наш путь идет прямо туда, на это неизвестное: там, за этой облачной или горной стеной, – Россия. Я думал, что все поймут, как это важно, и когда началась маленькая, личная полемика, я терпеливо ждал, чтобы кончилось личное, началось общее. И вот дождался.

«Все окружающие меня глубоко возмущены чересчур близким соседством двух событий: выхода Мережковских из „Последних новостей“ и их похода против меня лично в „Возрождении“. И их (т. е. окружающих меня) отнюдь не располагает к снисхождению то обстоятельство, что для объяснения этой перемены места сотрудничества понадобился не простой, человеческий, слишком человеческий, мотив, как у некоторых других, а целая новая философски-мистическая конструкция». Это говорит П. Н. Милюков, наш «бывший друг», как он сам себя называет. Он говорит о нас патриархально, в двойственном числе; я буду говорить – в единственном: так все-таки приличнее.

Что значит «мотив слишком человеческий»? Тут, как во всякой личной полемике, три известных женских булабочки: «намек, попрек и упрек». Сила булабочек в том, что они иногда прячутся в такое место, что вынуть их не легко.

«Слишком человеческий мотив», значит: «материальная выгода». Я будто бы перешел из одной газетной лавочки в другую, потому что в этой мне больше дали, чем в той. Жаль, что П. Н. Милюков точнее не справился. Все мы живем на виду у всех, как в стеклянных стенах. Если, делая намек, он еще не знал, то теперь уже знает – «на другой день Бирюлевским барышням все известно», – что я ушел от него не из-за материальной выгоды... Мне очень противно и стыдно говорить о таких пустяках, но это не моя вина: он сам воткнул булавку в такое место. Если, уходя от него, я душу продал, то понятно, что значат «слишком яркие черты моей человеческой личности», на которые он намекает. Ну, а если не продал и сделал то, что должен был сделать, по совести, считая влияние его газеты, в самом деле, пагубным? Милюкову кажется, что мой уход от него и мой поход на него – два события; нет, одно. Чем больше я был другом его, тем больше обязан был объяснить, почему мне кажется, что он – это я уже раз сказал и еще раз повторяю – человек умный и честный, сделался орудием людей, может быть, тоже не глупых, но едва ли честных.

Он будто бы сделался «очередною жертвою» моей «обычной перфидности» – по-русски, предательства. Вот один острый угол камня, а вот и другой: «горячие приветствия Мережковскому Марковых 2-х и Крупенских, его гостей на лекции». Но Милюкову теперь уже, конечно, известно от тех же «Бирюлевских барышень», что я этих гостей не приглашал. Их присутствие не помешало мне сравнить смрад «Марковских молодцов-патриотов» со смрадом «патриотов» Чубаровских, – тех, о котором сказано у Пушкина, в описании ада:

...запах скверный,  
Как будто тухлое разбилось яйцо  
Иль карантинный страж курил жаровней серной.  
Я, вопреки Милюкову, отделил его от патриотов Чубаровских, а он, вопреки мне, соединил меня – с Марковскими. Кто же из нас «перфиднее»?

В заключение, он остерегает меня, что мне уже не будет возврата из правого стана в левый. Мальчик ушел в лес, а папаша кричит ему вдогонку: «Не ходи, волк тебя съест»! Нет, мы с Милюковым живем в одном лесу с двумя волками, правым и левым, и какой кого раньше съест, еще неизвестно.

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)

«Тень распинающего» озаглавлена передовая статья в рождественском номере «Последних новостей». Статья безымянная, и меня не называет по имени; но, судя по всему, речь идет обо мне. Мысли свои автор излагает так смутно, что трудно понять, в чем дело. Чья-то тень, – должно быть, моя – неизвестно почему и зачем, распинает Христа, «подвесив меч к бедру Его», и сама с мечом, «подобно римскому воину». Чем больше читаю, тем меньше понимаю; вижу только, что Безымянный хочет говорить «по существу», но не может от какой-то странно двоящейся, принципиально-личной злобы. Зол он на меня, кажется, за то, что я сказал: «Крест будет мечом на Антихриста».

Если бы речь шла о каком-нибудь далеком, неизвестном и отвлеченном Антихристе, то Безымянный, пожалуй, простил бы меня; но меча на очень близких и очень известных антихристовых слуг, убийц России, он мне простить не может.

Вечного вопроса о Кресте и Мече, о силе Божьей и человеческом насилии я не подымал вовсе, ни в статье, ни в лекции; и уж, конечно, не подыму его, по поводу этой грубо-невежественной и кощунственной статейки. Скажу одно: Крест-Меч вспыхнул на христианском небе, в знаменье Константина Равноапостольного: Сим победиши, и с той поры уже не потухал; потухнет разве только перед самым концом мира – наступающим царством Божьим, где, разумеется, не будет ни Меча, ни Креста. А на исторических путях своих, Церковь не благословляет меча, но и не отвергает его абсолютно, всегда выбирая между двумя мечами один, поднятый в защиту слабых от сильных. И если иногда не умеют отделить Крест от Меча, то в этом ее святая немощь – святая сила: «в немощи сила Моя совершается». И если мы за что-нибудь любим Церковь, как Мать, то именно за это, – за то, что она, Небесная, не покидает нас в этих наших самых темных и страшных земных путях, несет на плечах своих, изнемогая и падая вместе с нами, эту тягчайшую тяжесть мира – крестную тяжесть Меча.

Вот что, однако, удивительно: пока речь идет о мече самих убийц, кроткие овцы христианского стада молчат; но только что речь заходит о мече против убийц, – блеют жалобно: «Не надо, не надо меча! взявший меч от меча и погибнет!» Да, погибнет: но, может быть, и хочет и должен погибнуть. И неужели все миллионы взявших меч и от меча погибших за свободу, за родину и даже, пусть по неведению, за самого Христа, – неужели все они так-таки Богом прокляты, от Христа отлучены, и одни только мирно живущие овцы благословенны? Им очень бы хотелось, чтобы от всего христианства пахло ихним овечьим запахом; но вот, не пахнет. Помните гнев Агнца в Апокалипсисе? «Говорит горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?»

И еще напомним: Петр в Гефсиманскую ночь вынул меч, но не был наказан, а только научен тихим словом любви; а Иуда, без меча, лобзанием, сделал свое дело. С кем же вы, кроткие, – с мечом Петровым или с лобзаньем Иудиним?

Боже меня сохрани думать, что за маской Безымянного спрятался Иуда. Иуд вообще мало; зато Иудушек множество, особенно, в России. Кажется, один из них и преподнес мне, во исцеление души и тела, мышьячку, настоянного на лампадном масле, и если этот напиток прошел мимо уст моих, то, уж конечно, не потому что подан с недостаточно-смирненным благочестием и подколодную ласкою.

Но это еще что, – в «Днях» я такое прочел, что глазам не поверил. Там напал на меня Ильин. Все за тот же «Крест-Меч». «Мертвые фразы г. Мережковского перестают даже быть членораздельною речью, а превращаются в страшное: „бобок, бобок, бобок“ ... – «Смрад нестерпимый даже по здешнему месту». Это из «Бобка» Достоевского: «здешнее место» – кладбище, а «нестерпимый смрад» – от меня, «гниющего трупа». Надо отдать справедливость христианам: они ругаются лучше язычников. Справив недавно сорокалетний юбилей отечественной ругани, я ко всему привык; не очень удивился и этому, но все же порадовался, что европейские друзья мои не читают русских газет...

Даже г. Сухомлин вежливей. В тех же «Днях», на том же месте, где г. Ильин бьется в христианском родимчике, он столбенеет от изумления, что в просвещенный век Маркса-Ленина можно еще заниматься таким старушечьим хламом, как «христианство», «мессианство», «Апокалипсис». Несмотря, однако, на вежливость г. Сухомлина, я не решился бы доказывать ему, что в знаменит. Zusammenbruch[28] Маркса с внезапным наступлением социалистического рая,

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org) заключается, судя по русскому опыту, не меньшая «фантастика», чем в христианской эсхатологии; я не решился бы это сделать, потому что боюсь, что под корочкой сухомлинской вежливости клокочет лава негодования, и что, если не быть осторожным, он может забиться почти в таком же, как Ильин, но уже не христианском, родимчике.

Зато у М. В. Вишняка вежливость почти надежная – говорю это серьезно и с благодарностью; даже больше, чем вежливость, – великодушие. Он «не сторонник правила: падающего толкни». «Когда Мережковские поскользнулись», – говорит он тоже в патриархально-двойственном числе, но я прошу у него позволения говорить в единственном: когда я «поскользнулся», он готов был протянуть мне руку помощи. Но «после намеченного Мережковским ближайшего пути в Россию через воссоединение христианских Церквей, видно, что поскользнувшийся не ощущает никакого неудобства от положения, в которое он попал; упорствует... даже идет в наступление. Тем хуже для него». Это значит: падение мое безвозвратно.

Может быть, я, в самом деле, чего-то не понимаю, не вижу, или Вишняк не договаривает, но я бы искренне был ему благодарен, если бы он мне объяснил, в чем собственно он видит глубину моего «падения». Как-никак, а Россия-то ведь все-таки страна христианская; долго такую была и, надо полагать, долго такую будет, вопреки соединенным усилиям Ильиных, Сухомлиных, и Марков, и Лениных, и это до такой степени, что русский простой народ так и называет себя «крестьянским», т. е. «христианским», по преимуществу. Нужно ли напоминать Вишняку, демократу искреннему – в этом я не сомневаюсь, – что демократия предполагает уважение к воле народа? А если так, то почему бы не уважить и воли русского народа к христианству? И почему одна мысль о том, что путь русских людей в Россию проходит через христианство, и что борьба с Интернационалом – антихристианством всемирным – должна быть тоже всемирной, перенесенной в ту высшую сферу, где может произойти «соединение церквей», – почему одна мысль об этом кажется М. В. Вишняку безвозвратным «падением»?

Тут что-то неладно, и, если бы мой противник это понял, то может быть, понял бы и то, почему я стою твердо, и даже «иду в наступление».

Подвожу итоги: я – друг Марковых 2-х и Крупенских; я – старьевщик апокалиптического хлама; я – безвозвратно павший человек; я – распинающий Христа.

Страшно? Да, но не за меня одного, а за нас всех, стесненных на плавучей льдине: мы на ней деремся, а она под нами шатается – вот-вот опрокинется! «О, бессмысленные Галаты! берегитесь, как бы вам не истребить друг друга».

Милюков Мельгунова, Мельгунов Милюкова, Струве Гукасова, Львов Струве, Лебедев Вишняка, Вишняк Лебедева, и опять Милюков Мельгунова... Что же это такое, Господи, – русская зарубежная, единственная в мире, свободная печать, или однозвучностучащая, но ничего уже не мелющая мельница?

## II

«Боже, как грустна наша Россия!» – воскликнул Пушкин, когда Гоголь прочел ему первые главы «Мертвых душ». Он сначала смеялся, а потом загрустил, чуть не заплакал, может быть, сам не зная отчего; мы теперь кажется, знаем.

Помню, лет тридцать назад остановились рядом со мной, перед писчебумажным магазином Дациаро на Невском проспекте, два подвыпивших мастеровых; более трезвый, вглядываясь в выставленную на окне гравюру – христианские мученики на арене Колизея, спросил товарища: «Это какие же будут?». Но тот с нетерпением тащил его за рукав, приговаривая: «Полно глазеть, пойдем, брат, пойдем, аль не видишь, это нетутошние!».

Помню, какое чувство национального достоинства отразилось на пролетарском лице его, уже под Максима Горького или даже самого Ильича. «Нетутошние», значит: не наши, не русские, ненужные, ничтожные; лучше пойти в кабак и напиться, как следует, чем глазеть на такую дрянь.

«Что нам Россия? Мы калуцкие!» – говорили, позевывая и почесывая спину, уже в самом начале мировой войны, русские мужички, будущие дезертиры и члены Интернационала, кажется, и теперь еще не понимающие, насколько короче и легче путь из Калуги в Интернационал, чем обратно.



Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)

Русская воля к «тутошнему» есть воля к захолустью. Слово это непереводаемо ни на один из европейских языков: в Европе нет слова, потому что нет вещи; может быть, и была когда-нибудь, но теперь уже нет; есть только в России. Странно, что Достоевскому, так хорошо видевшему всех русских «бесов», этот, едва ли не самый русский, – остался невидим.

«Нация» противоположна «этносу» по глубокому определению гр. Салтыкова. Этнос – еще не народ, а только преднарод, племя – утверждающее себя, как целое, в противоположность народу-нации, утверждающему себя, как часть целого, как член всемирного тела – человечества, – вот что такое «захолустье». В этом смысле, христианство – величайшее утверждение всемирности, величайшее отрицание захолустья.

Древние афиняне, предвестники эллинской и христианской всемирности, называли своих аттических провинциалов, «захолустников», «идиотами». Слово это не имело в начале того бранного смысла, как потом, *Idiotes* от *idios* значит: «свой», «особый», «частный», «местный», «тутошний», в противоположность «общему», «всенародному» и «всемирному». Дух захолустья, доведенный до крайности, может быть и в самом деле глупым и оглуляющим, «идиотическим».

Общий закон для всех культурных народов, не только за два христианских, но и за до-христианские тысячелетия, такой: чем ближе к Средиземному морю – бывшей или будущей колыбели христианства, тем всемирнее; чем дальше от него, тем захолустнее. Это, конечно, закон не материальных необходимостей, а духовных возможностей. Северная Америка, вопреки своему отдалению, вовлечена христианством в орбиту Средиземной всемирности.

Действие этого закона, кажется, всего нагляднее в исторических судьбах России. В лучшие свои минуты, обращается она лицом к Юго-Западу, к Средиземному солнцу и морю; в худшие – к Востоку – к песчаным пустыням Центральной Азии, к ледяным – Северной, и вдруг начинает пахнуть страшным «запахом к смерти» – не русской, а финно-монгольской, «евразийской» овчиной. Так запахла Московская Русь, когда воля к захолустью, с изуверским утверждением своего племенного, этнического, как абсолютной истины, и с отрицанием чужого, всемирного, как абсолютной лжи, привела ее на край гибели. Спас Петр. От Петра до Пушкина – восходящая линия русской всемирности; далее – срыв и падение от славянофилов-восточников, бунтовщиков против Петра, через нигилистов-западников, бунтовщиков против Пушкина, до коммунистов, – последней глубины падения. Что такое русский коммунизм? Воля выйти из своего захолустья в мир? Нет, вогнать мир в свое захолустье. Маска ложной всемирности – Интернационал – скрывает лицо захолустнейшего из захолустников, «идиота» из «идиотов», в древнем смысле, – Ленина.

«Боже, как грустна наша Россия!» Боже, как грустна наша эмиграция!

Казалось бы, само положение в мире обрекает ее на всемирность; но вот, умудрилась-таки уйти в захолустье, запахнуть и в Европе евразийской овчинкой, увидеть и чужое небо так, что оно ей кажется с ту же родную овчинку.

Да, страшно. Неужели, и вправду, Россия – мировое захолустье, или та неведомая «зараза, идущая из глубины Азии в Европу», о которой бредил Раскольников, или новое Чингисханово воинство, опустошающий Гог и Магог? Неужели, и вправду, бывшая Россия – будущее «царство Антихриста?»

Эти исполинские вопросы обступают нас, хватают за горло, а мы все свое: «Милюков Мельгунова, Мельгунов Милюкова», – как ничего не мелющая мельница.

Может быть, и хорошо, что большевики так долго сидят: если бы завтра пали, с чем бы мы вернулись в Россию и как бы нас встретили там?

«Судя по всему, эмиграция глубоко одряхла и обречена на скорую смерть», – злорадствуют московские «Известия» по поводу нашей маленькой полемики о путях в Россию. Неужели, и вправду наше захолустье – наша могила? Может быть, и так, а может быть, наши враги слишком спешат злорадствовать.

Бог нам послал певца Ариона в наш обуреваемый челн. Кажется, после Александра Блока, никто не говорил таких вещей слов о русской революции, как Ходасевич – «Боже, как грустна наша Россия!», – сказал Пушкин, – а

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Ходасевич ответил «путем зерна»:

И ты, моя страна, и ты, ее народ,  
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, –  
Затем, что мудрость нам единая дана:  
Всему живущему идти путем зерна.  
Две России – две эмиграции, внешняя и внутренняя, делают одно и то же дело;  
сколько бы ни разлучали их, ни разлучались сами они, эти две России – одна,  
и путь у них один – путь зерна.

«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Так говорит Сеятель.

Наше Рассеянье – сев. Вышел Дух из России, как сеятель, в мир и рассеял нас по миру. Много семян пропадет – останется лишь горсть; но это – малое семя великой России.

Пусть же не забываем мы, что наша смерть – смерть или жизнь России; пусть не забываем, что можно истлеть, но можно и прорасти зеленым ростком сквозь тьму захолустья к солнцу всемирности; пусть не забываем, что благодатный путь зерна и есть наш путь в Россию.

ДНЕВНИК ЧИТАТЕЛЯ [29]

#### I. БЕЛЫМИ ЧЕРНИЛАМИ

Пишут ими для того, чтобы не всякий мог прочесть, а только тот, кому следует. Белое на белой бумаге невидимо; но если погреть бумагу на свечке, то невидимое проступает явственно. Этот способ письма – криптограмма, тайнопись – не в большом ходу сейчас, но в старину пользовались им усердно любовники, мошенники, дипломаты, заговорщики и вообще люди, имевшие основание быть в переписке осторожными.

Белыми чернилами написаны две недавние статьи в «Последних новостях»: «Партия и религия» и «Свободомыслие и традиция».

Издавна еще в России появилось, здесь, в изгнании, пышно расцвело особое газетное наречье с таким обильем иностранных слов, что засыпанный ими русский язык становится похожим на чудовищный эсперанто. Надо бы набрать ко «дню русской культуры» великолепный букет этих газетных цветов, а пока вот букетик из тех двух статей в «П. Н.»: «обязательная идеология социализма»; «обязательная религия критического атеизма»; «социализм, одна из нормативных систем»; «аристократы, снобы духа»; «церковная техника», «среда, коснеющая в традиционной догме»; «практиковать устремленность к религиозности»; «вопрос формулирован так: какая степень прикосновенности к критическому процессу совместима с участием в организациях?» – «Прогрессирующий процесс секуляризации».

Бедного Митю Карамазова приводили в исступление русские Клоды Бернары 60-х годов с их сравнительно-невинной интеллигентской тарабарщиной; что бы теперь с ним сделалось? Большевички-умницы небезуспешно стараются превратить русский язык в интернационально-каторжный и национально-воровской жаргон – и мы тоже стараемся.

Русский язык под «эсперанто», а эсперанто под «белыми чернилами»: вылущить мысль из этой тройной оболочки не так-то легко. Но, может быть, это и нужно осторожным людям. Или что-то в роде аптечной облатки с неизвестным порошком: очень легко проглотить, но что будет потом – выздоровеешь или отравишься?

Две вышеупомянутые статьи «П. Н.» посвящены любопытному спору о совместимости революционного социализма и демократии с тем, что называется на языке эсперанто «традиционной догмой», а по-русски – «христианством».

Добрые пастыри наши, встревоженные появлением христианского волка на атеистических пажитях, задудели в дудочки, собирая и остерегая овец. Страшный волк – не религия вообще, ни даже вероисповедание, так называемое «аполитичное» христианство – травоядный волк, а какое-то новое, неведомое, вселенское, апокалиптическое, лютое, жадное к политике.

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)

Вместе с тем захотелось старым бойцам перед новым боем осмотреть и почистить свои идеологические доспехи. С этой целью начали они, подобно евангельскому хозяину, износить из сокровищниц своих старое и новое, – больше, впрочем, старое; или, подобно «тощей бабе на дворе Ивана Никифоровича, развешивать залежалое платье на протянутой веревке, чтобы проветрить». В заключение, появилось и злополучное ружье, то самое, которому суждено было сделаться невинной причиной ссоры Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Надо ли объяснять, что это идеологическое ружье есть «прогрессирующий процесс секуляризации» или «критическое отношение к традиционной догме», а по-русски: «христианство, как чепуха, смешная и вредная»?

Тут-то и возгорелся любопытный спор. Сразу скажу во избежание возможных недоразумений: никакой ответственности за опустошение на языке эсперанто таких полновесных слов, как «социализм», «демократия», а тем более «христианство», «догмат», «церковь», – я на себя не беру; я только раскрываю тайнопись, грею бумагу на свечке и читаю написанное белыми чернилами.

В споре приняли участие г. Сухомлин, социалист, к христианству беспощадный; милостивый к нему, социалист А. Ф. Керенский; осторожные враги христианства, демократы из «П. Н.», и неосторожный друг его, христианская социалистка, г-жа Скобцова.

Что-то уж очень давно г. Сухомлин все возвращался к теме о христианстве, как о смешной и вредной чепухе, и кружил над ней как мотылек над пламенем. Видно было, что он не может говорить о ней, не трясясь внутренне от злобы или смеха, смотря потому, что в данную минуту занимало его больше, – то ли, что чепуха эта вредная, или то, что она смешная. Трясся же он только внутренне, потому что хорошенько не знал, как чувства его примут читатели: волк-то ведь все-таки бродит на пастбище.

Долго не решался он обнаруживать свои чувства; но, наконец, решился, и, надо ему отдать справедливость, сделал это честно и мужественно; во всяком случае, мужественнее всех остальных спорщиков; написал не белыми, а черными чернилами: между социализмом и христианством нет примирения, потому что социализм – свобода и истина, а христианство – рабство и ложь. Социалист не может быть христианином, потому что не может согласиться с «признанием всей унаследованной от язычества и средневековых суеверий церковной техники и церковной догматики». – «Уберите от нас эту чепуху, смешную и вредную, или нам всем будет плохо!» – завопил он не этими словами, конечно, но смысл вопля был таков.

Надо, однако, вспомнить при этом и русских коммунистов, чтобы отдать и им справедливость: лгут во всем, кроме этого. Недаром же первое условие для вступления в коммунистическую партию есть клятвенный отказ от христианства, от «церковной техники» – таинств, и «церковной догматики» – веры во Христа. Этим-то, может быть, и объясняется столь глубокая, как бы даже мистическая связь честных революционных социалистов с коммунистами, тоже «честными», – да, есть и такие – может быть, самые страшные.

На вопль г. Сухомлина поспешил А. Ф. Керенский и начал его «уговаривать» так же разумно, как некогда солдат на фронте. «Свобода мысли есть право каждого мыслить и верить по-своему, а вовсе не обязанность делать себе из свободомыслия религиозную догму, отрицающую всякую другую религию». Ясно, как день, и еще яснее вывод: соединить с христианством революционный социализм, т. е., в последнем счете, марксизм, атеизм в действии – ничего не стоит. Дело это Александр Федорович вокруг пальца обернет не хуже, чем русскую революцию, – только бы ему поверили. Но вот почему-то не верят ни социалисты, ни демократы. Та же история, как на фронте: Керенский «уговаривает», а люди с фронта бегут да бегут.

Любопытно, что и для этого новообращенного христианина церковные таинства только «техника», а чем они отличаются от машиностроительной или химической техники, – думать ему некогда. Всего же удивительнее то, что намерения у него, в самом деле, добрые и сердце невинное, как у новорожденного младенца.

В эту опасную минуту спора, когда он грозил сделаться чересчур откровенным, выступили демократы из «П. Н.» за Сухомлина против Керенского, – и умно сделали, потому что этот по обыкновению хорошенько не знает, чего хочет, а

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
те знают твердо. Но слишком громкий вопль г. Сухомлина повторили «П. Н.» как бы вкрадчивым шепотом на ухо читателей; неизвестный порошок, неосторожно рассыпанный, опять завернули в облатку, и черные чернила заменили белыми. Повторяя г. Сухомлина, кое-что и от себя прибавили, очень важное. Прав Сухомлин во всем, кроме одного: он думает, что революционный социализм – единственное «целостное мировоззрение», до конца атеистическое; нет, и демократия тоже, и даже еще в большей степени, потому что в социализме атеизм – воинствующий, а в демократии – торжествующий. Здесь-то и венчается «прогрессирующий процесс секуляризации». Ах, Бернары, Бернары! Что это значит? Грею бумагу на свечке, читаю с удивлением и грешный человек, с эстетическим удовольствием: ловкие же люди в «П. Н.», мастера «белых чернил»!

«Прогрессирующий процесс» значит «постепенное развитие», «движение вперед», а «секуляризация» значит «обмирщение», «выходение мира из церкви». Все развитие, все движение человечества вперед заключается в его отпадении от Христа, от Бога, – в обезбожении; чем дальше от Бога, тем ближе к свободе, потому что Бог есть рабство изначальное – метафизический источник всех эмпирических рабств.

Следуют еще более удивительные вещи. Есть, оказывается, два «свободомыслия»: одно, «как метод, дает полную свободу мыслить», другое, «как результат», никакой свободы не дает, потому что «не может не отрицать целый ряд ложных религий». Опять грею – читаю: самая ложная из ложных религии, потому что наиболее приближающая людям ко лжи абсолютной – Богу, – христианство. Его-то и надо отрицать, разрушать в первую голову: «*ecrasez l'Infame!*» Это значит, в метафизическом пределе, самим белым по белому: если не сейчас, то когда-нибудь потом, первым условием для вступления и в демократическую партию, так же как сейчас в коммунистическую будет отказ от «всей церковной техники и догматики»: чтобы войти в бескредитное царство свободы, надо будет наступить на крест.

Я не думаю, чтобы сделать это решился когда-нибудь, при каких бы то ни было обстоятельствах благоразумнейший П. Н. Милюков. Я не сомневаюсь, что он хорошо понимает все «культурное» значение церкви для России, для человечества, и согласится помиловать на неопределенно долгое время, если не всю «церковную технику и догматику», то кое-что из них для так называемых «масс»: чем бы дитя не тешилось... Я еще меньше думаю, что истинная демократия повинна в том, что ей хотят навязать «демократы» из «П. Н.». Кажется, строение земного Града в том стиле демократического зодчества, как умели строить Перикл, Кромвель, великие пуритане Северной Америки и даже кое-кто из членов Конвента во Франции, донные включает в себя наибольшую доступную людям свободу – увы, очень малую; но отвергать малое, не имея большого, может быть, и не следует.

Все это я хорошо понимаю, но продолжаю думать, что сказав А надо будет сказать В, а в конце дойти и до Z; сделав первую логическую посылку: «секуляризация, обезбожение мира есть высшее благо», – придется, рано или поздно, сделать и последний вывод – «наступить на крест».

Сталин, если бы добрался до Милюкова, поставил бы его к стенке; но это не важно для них обоих, *sub specie aeterni*, а важно то, что они в обезбожении мира – друг другу союзники. Вот почему Милюков нет-нет да и потянется в ту сторону – как водоросль за движением волн.

«Что это, господа, позвольте, для чего же наступать на крест? Чем такая свобода мысли лучше изуверства?» – всполошилась г-жа Скобцова, задолго еще до Керенского нашедшая «квадратуру круга» – соединение революционного социализма с христианством. Не этими опять-таки словами, но в этом духе, задан был ею несколько наивный вопрос «П. Н.». Те на него не ответили, а только тихонько отстранили его. «Обвинение нас г-жой Скобцовой в нетерпимости могло бы иметь смысл лишь в том случае, если бы мы из области чистой мысли переносили наше исключение (христианства из демократии) в другие области», т. е. в жизнь, в действие. Но тут г-жа Скобцова могла бы удивиться: 19 февраля напечатано в «П. Н.», увы, не белым, а черным по белому: исключение христианства из демократии не входит в жизнь, в действие; а 9 февраля напечатано в тех же «П. Н.» и тоже, увы, черным по белому: исключение христианства из демократии есть «начало действительное в жизни... иначе самый процесс свободного мышления был бы какой-то игрой ума, раскладыванием пасьянса». Как же так? То действительное, то не действительное; то входит в жизнь, то не входит; то раскладывание пасьянса, то нечто гораздо

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
большее. Или по горьковскому старцу Луке лукавому: «Если хочешь, Бог есть; если хочешь, Бога нет?»

Лучше бы «П. Н.» ответили г-же Скобцовой просто: «Умные люди о таких вещах не спрашивают». Так или почти так они и ответили ей на другой, еще более наивный, вопрос: что демократы думают «о секуляризации России большевиками в ударном порядке?» – «Мы думаем об этом насильственным обмирщении совершенно так же, как и г-жа Скобцова». Тут бедная христианка-социалистка, поставленная в угол так ласково: «На тебе леденчик, не плачь, миленькая!» – могла бы удивиться еще больше: «Что это, что это, господа, позвольте, разве вы, демократы-республиканцы не государственники, а всякое государство не насилье в большей или меньшей мере? Если же все дело в мере насилия, то стоит ли говорить о подобных пустяках, когда „процесс секуляризации“, обмирщения, наступления на Крест, достиг сейчас в России таких высот и глубин, каких еще мир не видал?»

Спор с г-жей Скобцовой, делавшийся неудобным, «П. Н.» кончили грациозною шуткою: «Мы не сомневаемся, что ведись этот разговор в старой России, „Возрождение“ стало бы взывать против нас к „светской руке“. Г-жа Скобцова, вероятно, потупила бы глаза перед этим соблазнительным явлением и удалилась бы в свой скит практиковать свободную устремленность к религиозности. Мы опасаемся, однако, что люди отрицающие прогрессивность свободомыслия, последовали бы за нею и туда – на предмет строгой проверки существования ее „устремленности“. И нам же, пожалуй, пришлось бы ее защищать».

Вот такая волшебная картина: «светская рука» из «Возрождения» тащит г-жу Скобцову на инквизиционный костер, должно быть, пред русской церковью на рю Дарю; но в последнюю минуту подоспевает П. Н. Милюков с рыцарской дружиной «секуляризаторов» и спасает несчастную из пламени.

Ах, хорошо пишут в «П. Н.», – тонко, умно, весело! Но на всякую старуху бывает проруха. Лучше бы «П. Н.» с «Возрождением» не связываться. Как-то в этой газете задан был П. Н. Милюкову вопрос: в праве ли человек, видящий в христианстве только неизбежное и временное зло, заблуждение масс, говорить о церковных делах, как о близких ему и понятных? «П. Н.» отмахнулись от вопроса, назвав его «наивно-невежественным». Почему?

О, конечно, всякий человек имеет несомненное право быть врагом церкви, христианства, Христа; но право быть или казаться, смотря по нужде, то врагом, то другом может быть и сомнительно.

П. Н. Милюков – кто же, как не он, отвечает за свою газету? – 9 февраля текущего года объявил, что высшее благо человечества есть обмирщение, отпадение мира от церкви, от христианства, от Христа, а 26 августа прошлого года, тот же П. Н. Милюков, в той же газете, убеждал эмиграцию «признать тождество прежней и новой (советской) России, когда речь идет о такой крупной стороне ее жизни, как православная церковь», и сокрушаясь о благе этой церкви, умолял митрополита Евлогия дать подписку в лояльности советской власти: «По нашему мнению, у митр. Евлогия тут нет выбора, кроме подчинения». Кем это сказано, врагом или другом церкви?

К «светской руке» я не стал бы взывать, если бы она даже была; но я мог бы воззвать к человеческой совести Павла Николаевича и к христианской совести кое-кого из его сотрудников; я мог бы им сказать: будьте друзьями или врагами Христа, но будьте ими открыто и честно.

А в заключение добрый совет: не считать дураками всех своих читателей и быть поосторожнее, даже когда пишешь белыми чернилами.

## II. ЧЕРТА КРОВИ

Смертный приговор надо мною произнесла советская власть, кажется, уже пять лет назад, о чем будто бы даже в советских газетах было объявлено, как сообщили мне друзья из России. Я этому тогда не поверил, да и теперь не очень верю: слишком много чести. И почему именно я этой чести удостоился, а не десятки, сотни, тысячи мне подобных? Если бы советская власть могла поставить к стенке всю эмиграцию, с каким бы восторгом она это сделала! И если она, в самом деле, «законная власть», как думают многие, увы, не только иностранцы, то смертный приговор ее над нами справедлив: все мы, от социалистов до монархистов одинаково – «государственные преступники», «изменники России» – единый «контрреволюционный фронт»; все мы хотим

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
уничтожить советскую власть, а она хочет нас уничтожить. Между нею и нами – черта крови.

Некогда, совпадая с границей бывшей России, черта эта казалась неподвижной. Но потом сдвинулась, начала подходить к нам все ближе и ближе, окружать нас все теснее, безысходнее, пока, наконец, не прошла среди нас, не разделила нас и сама не разделилась на множество черточек – трещинок: так трескается слишком сухая земля. Вместо одной границы внешней – тысячи внутренних. Всюду они замелькали, кровавые, не только между политическими партиями, но и между отдельными лицами. Все мы – бывшие братья, по любви к России, по муке изгнания – той казни, которую древние считали немногим лучше смерти. Но вот между братом и братом легла кровь.

Что же делать? Ясно, может быть, даже слишком ясно, что «мы призываем к объединению всех сил, борющихся с большевиками, – говорит один из самых доблестных наших борцов, Сергей Петрович Мельгунов. – фронт единый, внепартийный и даже разнопартийный, не является для нас утопией... Мы зовем в свои ряды и монархистов, и республиканцев, и социалистов» («Борьба за Россию», № 62).

Это значит: множество черточек крови снова слить в одну черту; множество границ внутренних соединить снова в одну внешнюю. Или другими словами: вернуться от 28-го года к 18-му, а может быть, и дальше, к 17-му, к февралю, кануну Октября. Но, если бы и можно было вернуться к невозвратному, это бы нас не спасло: как не было у нас тогда чего-то нужного для единого фронта, так нет и теперь. Чего же именно? Воли к России «национальной», – думает Мельгунов. Но только ли этого, – вот вопрос.

Воля к единому фронту зависит у Мельгунова от веры его в близкое падение советской власти: «Власть, десять лет мучившая русский народ, готовится испустить дух». Десять лет готовится; где же порука, что еще лет десять не будет готовиться? Если повод к объединению только этот, он слаб.

Все, что нас разъединяет, несущественно; спорить о русской республике и монархии, когда нет России, бессмысленно; или единый фронт, или отказ от борьбы. «Все это такие аксиомы, что скучно повторять одно и то же», – одно и то же повторяет Мельгунов. Почему же никто в «аксиомы» не верит? Потому что голос крови сильнее, чем голос разума.

«В 1919 году, когда армия Деникина приближалась к Москве, мы, социал-демократы, произвели мобилизацию в красную армию... Не скажу, что мы делали это с легким сердцем, но скажу, что мы считали и считаем сейчас этот жест своей исторической заслугой... И в то же время были в рядах нашей партии лица, воевавшие на стороне Деникина с красною армией. Можно ли говорить о коалиции элементов... направляющих друг против друга заряженные винтовки?» Странное, в своем невинном бесстыдстве, признание это делает какой-то «Социал-демократ» в «днях» (27 февраля 1928), хотя и хвастающий «исторической заслугой» братоубийства, но имени своего назвать не посмевший. Мету близости нашей к «единому фронту» не дает ли одна возможность такого признания?

Да, кровь между нами легла и лежит. Никаким песочком политическим ее не засыпать, потому что она легла глубже политики. Где же именно? Чтобы это увидеть, надо вспомнить то, что мы так легко забываем: враг наш – коммунизм – не политика, а «религия» – антирелигия.

Я никогда не забуду беседы с только что из России приехавшей – не бежавшей, не высланной, а приехавшей по советскому паспорту (тут разница огромная), супружеской четой: он – молодой религиозный философ; она – простая, тихая, добрая женщина; оба русские интеллигенты родного старого облика извне, а внутри совсем новые, чуждые; пламенные, хотя, кажется, недавние, христиане, Тихоновской церкви церковники, «яростно», если можно так выразиться, «аполитичные».

Вместо того, чтобы осведомлять друг друга о близком и нужном, мы начали, по скверной русской привычке, далекий и ненужный спор.

– Свергнуть большевиков нельзя никаким внешним революционным действием, а можно только внутренним подвигом любви, – это собеседник мой доказывал мне, побеждая мою языческую строптивость своей христианской кротостью. Верно было все, что он говорил, свято – и возмутительно: как бы нагорная

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
проповедь на людоедском пире; слова любви под хруст костей.

– Зла нельзя победить злом, а можно только добром, ненависть – только любовью, вот что мы, в России поняли, а вы здесь, в эмиграции, все еще не понимаете. Вольно взяла на себя Россия свой крест, вольно страдает и, пока не дострадает, – не спасется. Дайте же ей дострадать до конца!

Слово «дострадать» он выговаривал так, что у меня пробежали мурашки по телу, и все почему-то вспоминалось, – мы сидели за чайным столом, – как Иван Карамазов запустил в черта стаканом.

– Ну, а если бы англичане начали войну с Россией, с кем оказались бы вы? – вдруг спросила жена его, все время молчавшая. Англия тогда только что порвала с Советами, и была та минутка, когда не в Европе, а в России говорили о войне.

– С кем оказались бы мы? Не с большевиками, конечно, – ответил я, поглядывая с отвращением на стакан.

– Значит, вы были бы против России? – не унималась она.

– Да, против, если Россия – то, что вы говорите...

Все вдруг замолчали, и красная черта прошла по белой скатерти. О если бы это были обыкновенные, в кожаных куртках, «антихристы», я знал бы, что делать!

Мы расстались хуже, чем враги, – как живые расстанутся с мертвыми.

Церковь – из всех человеческих союзов крепчайший. Но вот, как это ни страшно, надо правду сказать: черта крови прошла и по Церкви; здесь-то именно глубже всего. Все черты разделения в политике идут, зримо или незримо от этой главной – в религии; явные, многие расколы – от одного тайного, церковного. Надо ли об этом говорить? Сколько ни молчи, – скажется. Страшен церковный раскол, но не для Церкви. Скалы Петровой, а для нас, строящих на ней свои дома, и домишки, и лавочки.

10 сентября 1927 года епархиальное управление Западно-европейского митрополичьего округа разослало всем настоятелям приходов циркулярный запрос, соглашаются ли они с ответом митр. Евлогия на то послание митр. Сергия, где требовалась подписка в лояльности советской власти. Настоятель прихода в Женеве, о. протоиерей С. Орлов ответил на этот запрос: «Никак не могу быть согласным с ответом митрополита Евлогия и вот почему: я сомневаюсь, что в письме митр. Сергия слышится действительный голос Православной Церкви; я полагаю, что здесь не свободное волеизъявление высшей власти Русской Церкви, а вынужденное насильем врагов Христа и Его Св. Церкви... Церковь есть Царство Божье на земле; и есть вместе и сила Божия, воюющая на земле против всякого зла... С долгом научения в Церкви стоит рядом и долг деятельной борьбы со злом... Обязательство о невмешательстве Церкви в политическую жизнь можно было бы принять в отношении ко всякой действительной государственной власти – монархической, конституционной, республиканской и прочим; но считаю немислимым такое обязательство, по отношению к советской власти, не законной, не народной, и, главное, не только безбожной, но и богоборческой... Церковь не может быть „аполитичной“, по отношению к таковой власти... Верования мои и убеждения совести не позволяют мне дать никакой подписки и никакого письменного заявления, из которых можно было бы заключить о каком бы то ни было моем обязательстве по отношению к этой власти» (протоиер. С. Орлов, Женева, 19 октября 1927 г.).

Может быть, о. С. Орлов в чем-то не прав. Пусть. Я не буду об этом сейчас говорить, да и не в этом дело, а в том, не стоит ли за ним, при всей возможной неправоте его, и какая-то правда?

Церковь «аполитична», потому что «Царство Мое не от мира сего»? Да, Царство Его не от мира идет, но входит в мир, да еще как: все царства мира от этого вхождения рушатся. Загляните в Апокалипсис: там вы на каждой странице увидите, как страшно Царство Его входит в политику, – о, конечно, не нашу, маленькую, однодневную, а в ту огромную, вечную, где решаются судьбы веков и народов. Да и что значит: «Да придет Царствие Твое», если оно вообще в мир не придет никак никогда?

Выньте из Церкви эту правду о Орлова, – то, за что сердце его горит такой поедаящей ревностью, – и что останется от христианства, кроме буддийской, толстовской, теософской меледы, может быть, и добродетельной, но такой скучной и вялой, что любой в кожаной куртке, «антихристик» смахнет ее одним движением ладони, как смахивают сор со стола?

Две разделяющие правды в Церкви, земная и небесная, – вот где начинается черта всех разделений – не на светлой и шумной поверхности вод – в политике, а в их темной и тихой глубине – в религии. Стоит только заглянуть в Россию, чтобы понять: быть или не быть христианству, значит, быть или не быть России.

– «Вы за что? По какому делу».

– «Я христианин... Мы не контрреволюционеры, мы контрматериалисты... Мы ни белые, ни красные, мы синие – Христовы»...

«Вечером, после проверки, когда каторга спала, я, забравшись в угол нар, сидел с ним и его приятелями в темноте, зловонном, страшном соловецком бараке. Все это была молодежь, – настоящая, здоровая, сильная, крепкая духом и телом, самая новая молодежь России.

– Кто мы? – говорил один из них. – Мы просто христиане, христиане до конца... Мы нашли учение Христа... Мы не одни, нас много в России... Все вы, русские, ты, молодежь, ты, эмиграция, услышьте зов России – объединитесь под учением Христа!»

Это из книги Ю. Безносова «Двадцать шесть тюрем и побег с Соловков», книги литературно-ничтожной, но документально одной из замечательнейших русских книг последнего времени. Это как бы даже и не книга, а вырванный из жизни кусок, – из тамошней, загробной жизни. Главное впечатление не от того, что в книге написано, а от того, кто писал, – почти неземная простота и ужас; бывшее человеческое, а теперь полузвериное, голое, дикое, «шерстью обросшее» сердце. Этот человек, ненавидящий большевиков до конца, до религии, – сам большевик наизнанку, белый, сделавшийся красным, потому что с него содрали кожу.

«Я христианин», говорит он, но что такое христианство, не знает. И те, кто с ним, – «ни белые, ни красные, а синие, Христовы», тоже этого не знают; не умеют даже отличить христианство от духоворчества, толстовства, и от самого коммунизма; все еще надеются, что «антихристы» покаются, «поймут и повернут ко Христу». Многого, впрочем, от этих людей и требовать нельзя. Мы даже понять не можем, как они живут и дышат: так люди, плывущие по морю, не могут понять, как живут на самом дне моря слепые рыбы, – слепые, потому что в вечной тьме не нужно глаз.

Эти христиане до Христа – что-то вроде пушкинских Галубов, или тертуллиановых «душ, родившихся христианками», или дикарей-людоедов, только что съевших своего миссионера и вдруг во Христа поверивших. Но когда они говорят: «Мы Христовы», и за это гниют в страшном соловецком бараке, им надо верить; надо верить и тому, что с ними Россия.

«Мы призываем к объединению всех сил, борющихся с большевиками... Наша политическая платформа выработана в полном соответствии с молодыми голосами, звучавшими нам из России», – говорит Мельгунов. «Все вы, русские, ты, эмиграция, услышьте зов России: объединитесь под учением Христа!» Слышит ли Мельгунов этот голос? Он делает великое, благородное и даже святое, христианское дело; но сердце его к христианству не лежит. Было бы жестоко и глупо осуждать его за это, но понятно, почему ему так «скучно повторять одно и то же», звать к единому фронту так пламенно и бесполезно. Если бы он услышал тот христианский зов из России, то, может быть, и его собственный зов прозвучал бы иначе.

«Пусть каждый скажет: „Я христианин“, затем: „Я русский“, и уж потом, совсем потом: „Я монархист, республиканец!“» Это говорят те же «синие, – Христовы». Что это значит? Значит: воля к России «национальной», как сила объединяющая фронт, недостаточна. Общее зло сильнее частного добра: интернационал сильнее нации. Только Россия не победит уничтожающей ее «всемирности»; только русские, мы разъединены, но соединимся, христиане-русские.



Спят живые, мертвые бодрствуют; молчат живые, мертвые кричат; в мире живые, мертвые ссорятся. Пока это будет, – не будет «единого фронта». Скоро ли это кончится? Может быть, и не скоро, но сразу и одинаково, как там в России, так и здесь, в эмиграции. Что-то блеснет в умах и в сердцах, как молния, и русские люди поймут, что быть или не быть христианству, значит быть или не быть России.

Только тогда проходящая между сердцами черта разделения войдет в сердца, пронзит и нанижет их, как ожерельная нить – жемчуга; только тогда черта между нами кровавая сделается связью кровною. И живые сомкнутся в «единый фронт». Может быть, их будет очень мало, но живые победят мертвых.

КОТОРЫЙ ЖЕ ИЗ ВАС? иудаизм и христианство[30]

Иисус, Иагве, – Который же из Вас?

В. Розанов

Антисемитизм и христианство – вечный вопрос, неразрешимый в плоскости, где он почти всегда решается, – национально или даже интернационально-политической, – разрешимый только в плоскости религиозной, где он и возник.

Четверть века назад он был поставлен в Религиозно-Философском Обществе В. В. Розановым, и вот снова ставится в «Зеленой лампе» им же, его посмертной книгой, как бы загробным голосом: «Апокалипсис наших дней». Ставился до «Апокалипсиса» тогда, и вот опять ставится уже в «Апокалипсисе». Шепотом предвещались голоса громов будущих; шепотом повторяются голоса бывших громов, а может быть, и новых будущих. Худо было тогда, что мы их не услышали; как бы не было хуже, если мы опять не услышим.

Кажется, нигде никогда не ставился этот вопрос с такою режущей остротой, как сейчас, на теле России. Быть или не быть христианству, значит ли это: быть иудейству или христианству? «Иисус, Иагве, – который же из Вас?», как в предсмертной тоске вопиял Розанов.

О, конечно, это не только русский вопрос наших дней, но и всемирный, вечный! Пусть искаженно, превратно – все же глубоко отражается он в решающей судьбе человечества, борьбе двух племен, двух кровей, семитской и арийской. Вечно и всемирно действует между ними закон религиозной полярности – притяжения-отталкивания, вражды-влюбленности.

Их съединенье, сочетание,  
И роковое их слиянье,  
И поединок роковой  
наполняют историю и, наконец, заостряются в этом последнем вопросе-вопле:  
«Который же из Вас?»

Чистый ариец гениален в искусстве, науке, философии, политике – во всем, только не в религии. Дикие цветы фольклора, многобожия национального, вянущие от одного прикосновения всемирной культуры, – вот все, что создает он, в лучшем случае, а в худшем – мировую религию без Бога – антирелигию – буддизм.

Чистый семит гениален в религии: он, можно сказать, только и делает в истории, что создает религии; в худшем случае – в Египте, Вавилоне, Ханаане, – рождает богов, в лучшем, – в Израиле, – Бога. Знать и сомневаться учит людей ариец; верить и молиться – семит. У того в крови – атеизм; у этого – религия. Тот – богоубийца; этот – богоотец.

Чтобы родить Бога, мужеству арийскому нужна семитская женственность; чтобы религиозно поднять арийское тесто, нужны семитские дрожжи; чтобы зажечь сухолесье арийское, нужен семитский огонь.

В меньшей степени нуждается семит в арийце, – только для того, чтобы пожать и собрать в житницы его пустынную религиозную жатву (семит – вечный пустынный), расточить его небесное сокровище – созерцание внутреннее – во внешнем действии. Но за главным, вечным, Божьим, – хлебом жизни, не семиты протягивают руку к арийцам, как нищие, а эти к ним. Холоден был бы наш арийский дом без очага семитского; обледенела бы наша арийская земля – культура – без семитского солнца – религии.

Лучшее, что есть доньше в мире, чем все еще мир живет и, надо надеяться, будет жить до конца, – христианство, – цвет и плод этой семито-арийской полярности-влюбленности. Мир победившая воля: «Да приидет царствие Твое», – родилась в первых иудео-христианских общинах, от Петра и Иоанна до Павла. Но это лишь точка, молния, миг. Сын для дочери Израиля – только Возлюбленный, а Супруг – Отец. К Отцу от Сына вернулась она, но не могла простить своему «Обольстителю» (так назван Иисус Назарей в Талмуде). И ненавистью кончилась любовь, краткий союз – вечной разлукой. Но след любви остался в мире, тень любви – христианство, и по одной этой тени, можно судить, чем была любовь.

Тайну иудео-христианской полярности, кажется, понял, как никто из христиан, никто из иудеев, Розанов; он понял святую и страшную тайну Израиля – имманентно-трансцендентный пол, человеческий пол в Боге: «Sexus и Deus» (Бог и Пол), как бы «двое малюток в одной люльке» (Розанов В. В мире неясного и нерешенного. С. 124): «Я (Бог) проходил мимо тебя (дщери Израиля), и вот, это было время твое, время любви... Ты достигла превосходной красоты; поднялись груди, и волосы у тебя выросли. И простер я воскрылия риз Моих на тебя... и покрыл наготу твою... и ты стала Моею» (Иез. 16, 7–8). Это значит: «Бог Израиля – Супруг Израиля». – «Аз есмь огонь поядающий – Бог ревнующий» (Втор. 4, 24). «Огонь ревности чистосупружеской есть в то же время огонь религиозной ревности Бога Израильского ко всем иным богам» (Розанов В. Из восточных мотивов. С. 62). Это значит: тайна Израиля – тайна обрезания – Богосупружество.

Понял Розанов и то, что кровавый разрез между двумя Заветами – Отцом и Сыном, Супругом и Возлюбленным проходит именно здесь, в обрезании. «В обрезании, – говорит Розанов, – устанавливалось вечное и невольное созерцание Бога, как бы чрез кольцо здесь срезанное». С Богом обручальное кольцо Израиля. Вот почему «все комментарии Библии, так сказать, написанные нашими чернилами, а не иудейскою кровью обрезания, не улавливают существа дела, и просто ложны» (В мире неясного и нерешенного. С. 124). Кровь обрезания и Кровь Голгофы, –

Их соединенье, сочетанье  
И роковое их слиянье,  
И поединок роковой, –  
вот «Апокалипсис» всех веков иудео-христианских и наших дней.

«Стыдная рана, pudendum vulnus», говорит кто-то из древних посвященных о ране оскопившегося бога Аттиса. И рана разреза – обрезания – между двумя Заветами – тоже «стыдная». Тут мистериально половое «не-тронь-меня» всего Израиля; огненная точка плоти – «крайняя плоть» – крайний стыд и страх.

Вот почему так трудно говорить об этом: «Язык прилипает к гортани». Страшно подымать этот Божий покров с лица Израиля. «Кто подымет покров с лица моего – умрет», мог бы сказать и он, как древневавилонская богиня любви, Иштар. «Любишь меня – молчи; ненавидишь – молчи; скажешь – умрешь», как бы остерегает он друзей и врагов.

Розанов – «бесстыдник трансцендентный», «предустановленный», посланный в мир для того, чтобы обнажить эту «стыдную рану», потому что обнажить ее все-таки надо: «стыдная» может сделаться смертною.

Кажется, нигде никогда не была она более смертною, чем в наши дни, на теле России. В двух плоскостях совершается тут «роковой поединок»; кровавый разрез идет по двум линиям.

Первая – антихристианская. «Вся наша современность пронизана иудейством, абсолютным Ж (женскостью) и коммунизмом», говорит Вейнинггер, тоже иудео-христианин, как Розанов, но в обратном смысле: этот отрекается или хотел бы отречься от христианства для иудейства, а тот от иудейства для христианства. Коммунизм, по Вейнинггеру, есть «явление абсолютной женскости – безраздельная слиянность, неразличимое единство». – «Евреи безличны, как абсолютное Ж, и потому коммунисты»: собственность они отрицают, как социальный и метафизический атрибут личности.

Тут Вейнинггер кое-что путает. Знак абсолютного равенства: «еврейство – женскость – безличность», не верен; верно лишь то, что равенство это может быть и, в данном случае, в коммунизме, как антихристианстве, действительно есть. Ранний, «прафаэлитский» социализм, тоже по Вейнинггеру, –

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
«происхождения арийского (Оуэн, Карлейль, Рескин, Фихте), а социализм поздний – коммунизм – семитского (Маркс)» («Пол и характер»). Мы теперь знаем, по опыту, что и это не совсем так: корень коммунизма – еврейский; цвет и плод – русский, арийский, или точнее, монголо-арийский (Ленин).

Такова первая линия разреза, а вот и вторая. Гоголь, Чаадаев, Достоевский, Вл. Соловьев, Розанов – вся тайная, ночная душа России – семито-арийская, иудео-христианская. Чтобы это понять, надо помнить, что духовная зараза арийства семитством – иудео-христианство – может быть глубже сознания – в чувстве, в воле, в крови; надо помнить также три главные силы религиозной семитской динамики: богорождающий пол, одержимость пророческим духом и волю к мировому концу – «Апокалипсису».

Все эти три силы действуют явно или тайно в семито-арийской душе России.

Вспомните Гоголя с его – выражаясь грубо, общепонятно – «мистическим бредом» и «половой извращенностью» – «некрофильскою» панночкой-ведьмой в гробу («Вий») и мертвой Россией «мертвых душ», с его исступленным – опять общепонятно, грубо – «изуверским» пророчеством («Переписка с друзьями») и апокалипсическим ужасом: «Господи, пусто и страшно в мире твоём!» – вспомните все это и вы, может быть, поймете, что Гоголь – ариец, сошедший с ума от семитских древних, «дряхлах страшилищ».

Вспомните Чаадаева, тоже «сошедшего с ума» для русских жандармов и атеистов, с такими странными ни одним биографом необъясненными чертами жизни: светский Адонис, «бабий пророк», женский любимец, никогда ни одной не любивший, то ли от чрева материнского скопец, то ли сам себя оскотивший, ради Царства Небесного, бедный рыцарь «непостижимого уму виденья» *Lumen coeli, sancta Rosa*; вспомните все это и вы, может быть, поймете что и это ариец, испепеленный семитским огнем.

Вспомните, чем хотел быть Достоевский с его антисемитским ужасом: «Жид идет! Антихрист идет!» и чем он был, – неистовый пророк, эпилептик и чувственник, такой же, как чистейший семит, Магомет.

Вспомните Вл. Соловьева, с его лицом ветхозаветного пророка, с апокалипсической «Повестью о конце мира и пришествии Антихриста», с тремя видениями Одной – то ли древней семитской Астарты, то ли христианской Богоматери, – с «тремя свиданьями», в Москве, Лондоне, Египте – древней пустыне, откуда вышел Израиль, и с предсмертной «молитвой за евреев», и вы, может быть, поймете, что, если был после апостола Павла христианин, знавший, что «весь Израиль» спасется, то это он, Вл. Соловьев.

Вспомните, наконец, последнего, к кому все шло и в ком все завершилось – Розанова, с его раздирающим душу России воплем: «Который же из Вас?»

Но вся эта вещь, тайная, ночная, семито-арийская, иудео-христианская душа России не победила; победила дневная – только арийская, не иудейская и не христианская – от Л. Толстого до... стыдно и страшно сказать – до Максима Горького.

Но ведь и Л. Толстой – «христианин»? Да, самый чистый: христианство очистил он от иудейства – пола, пророчества, Апокалипсиса, Новый Завет – от Ветхого, Сыновство – от Отчества. Весь вопрос в том, что осталось – христианство или буддизм – костер без огня, змея без жала, «квас без изюминки».

Два роковых созвездья, два знака решают судьбы России – Лев и Агнец – арийский, буддийский лев и семито-арийский, иудео-христианский Агнец – знак Л. Толстого и знак Достоевского. Россия погибла под тем; не спасется ли под этим? Грешный день ее взшел под знаком Льва; не взойдет ли ее святая ночь под знаком Агнца?

\* \* \*

«Вот то-то и оно-то, Д. С., что вас никогда, никогда, никогда не поймут те, с кем вы»... (Розанов В. Опавшие листья. Ч. 2. С. 422).

«А „Марковы“, „правые“ (исконное слово – слушайте! – „правый“), русские поймут. И зачем не говорить правды, когда все лгут и „шаббес-гойствуют“?...»

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)

Это из письма, нацарапанного карандашом на обороте листовки-протеста 105 офицеров Белой армии, по поводу ответа м. Евлогия м. Сергия на требование лояльности советской власти; вечная тема – на теме дня; ночная душа России – сквозь дневную, – в виде непристойной, заборной надписи или таинственно-зовущих иероглифов.

Продолжаю читать «иероглифы»: «„Вздох – всемирная история, начало ее; вздох же – вечная жизнь, неугасающая“. Это тоже В. В. Розанов о вас, Д. С., – о том, что вы умеете иметь вздохи».

Два «вздоха»: первый – начало мира – бытие – «Атлантида», и последний – конец мира – «Апокалипсис». Два «вздыхания» – «Завета»: такова вечная тема моя и Розанова. Как верно угадано!

А в заключение: «Ну разве вы не видите, в чем дело? Ведь только в иудеях... „Бороться“, значит бить своих даже в мыслях нельзя.

„Шма Израэль!“ – воскликнул сраженный австриец-еврей, во время атаки русским солдатам, но оказавшимся евреем тоже. А на другой день, „победитель“ зарезался, сойдя с ума, хотя был храбрый и грубый на редкость».

«Вот и скажите, Д. С., многоуважаемой З. Н. о черте крови, о связи левых из Пасси, из Сквири, из Нью-Йорка, из Вавилона, из „преисподней“, из лона Авраама... о связи извечно-крепкой иудейской крови; да и общность („черта крови“) тут особенная с Р. Х.: „кровь Его на нас и на детях наших!“

Может быть, вы и не испугаетесь левой общественности, даже лакейской общественности с rue Daru. Ведь арийцы, по учебнику (редкому, правда) отличались от соседей, – значит, и от иудеев, – тем, что „умели ездить верхом, стрелять из лука и говорить правду“ всегда. – Будьте здоровы и благополучны!»

Все любопытно в этом документе. «Арийцы умели стрелять из лука и говорить правду», это значит: «умели быть храбрыми». – Ну-ка, Д. С., расхрабритесь и вы; полно трусить, лгать, быть белою вороною в стане черных, «левых», ключих падаль России; будьте с нами, правыми, антисемитами, а то смотрите, как бы и вам не сойти с ума и не зарезаться, как тот несчастный еврей, убивший брата своего, в «туманной и случайной атаке».

Очень любопытна и анонимная подпись: «Православный». Маску снять приглашает меня, а сам остается в маске. Кто это? Судя по чингисханову наездничеству и стрельбе из лука, помесь арийца с монголом, Европы с Азией – «Евразия». «Православный», но не с «лакейской» rue Daru, а с благородной rue d'Odessa, или, может быть, из неопределенных между ними пространств около rue de Grenelle?

Тут очень грубая и вместе с тем очень тонкая провокация или, говоря по-христиански «искушение».

«Бить своих нельзя», что это значит? Чтобы понять, углубляю и кончаю плоские и короткие мысли моего «искусителя».

Две тысячи лет длится борьба христианства с антихристианством и последняя, злейшая схватка их происходит сейчас на теле России. Сущность «христианства» – отрицание иудейства абсолютное. На розановский вопрос: «Который же из вас – Иисус или Иагве?» мой искуситель отвечает решительно: «Иисус; Иисус уничтожает Иагве». Или другими словами: «абсолютное христианство есть антисемитизм абсолютный». Вот почему «христианину» бить правых, антисемитов, значит «бить своих».

Отвечаю моему искусителю: я хорошо знаю, что делаю. «Белою вороною» я родился и умру: в стане левых – не христиан – христиан, в стане правых – антисемитов – филосемит.

Надо «бить своих», когда они дураки или умные провокаторы; надо их бить, даже, на поле сражения, когда они бегут.

Мой искуситель думает, что, если бы я, убивая еврея, услышал из уст его: «Шма Израэль!», то остался бы «здрав и благополучен»; но сошел бы с ума и зарезался, если бы убил христианина. Нет обе возможности убийства –

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
братоубийства – для меня равно ужасны; вот именно по этой общей для христианина и еврея молитве: «Шма Израэль!».

Можно ли ее услышать из уст христианина? Можно, – даже из уст самого Христа.

«Один из книжников спросил Его: какая первая из всех заповедей? – Иисус отвечал ему: Слушай, Израиль! Шма Израэль! Господь наш есть Господь единый» (Мар. 12, 29).

«Шма Израэль!» – изрек Господь из огня, облака и мрака Синайского (Втор. 6, 4). Эти слова повторяет утром и вечером, каждый благочестивый еврей, вот уже три тысячи лет, так что они вошли в плоть и кровь Израиля; но в нашу христианскую плоть и кровь не вошли: все еще мы не знаем: «Который же из Вас?»

Между двумя заветами кровь: «Кровь Его на нас и на детях наших!» это сказал и сделал Израиль однажды, мы, христиане, этого не говорили, но делаем всегда.

«Который же из Вас?» страшный вопрос, но еще страшнее ответ: «Иисус, а не Иагве». Это значит: Новым Заветом уничтожается Ветхий – Сын убивает Отца. Я давно это понял и давно ответил моим «искусителям», левым: друг Израиля не может быть не христианином; и правым: христианин не может быть врагом Израиля. Антисемитизм есть антихристианство абсолютное.

Вот за что я «бью своих» в обоих станах. «Белую ворону» заклюют черные. Что же делать? Апостол Павел – христианин не хуже нашего. Если он говорит: «Богом свидетельствуюсь, не лгу: я желал бы быть отлученным от Христа за братьев моих, Израильтян», то и мы это скажем.

«Разве вы не видите, в чем дело?» «Вижу прекрасно: все дело в Иудеях, ибо спасение от Иудеев» (Иоан. 4, 24) – «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут».

Очень далеким кажется сейчас вопрос о двух Заветах, но стоит лишь вспомнить, что произошло, происходит и может произойти в России, чтобы понять, как страшно он близок. Антихристианство – антисемитизм – там уже наверху, а внизу – погром. И люди, скованные в деле, в слове, в мысли, не могут даже готовиться к этому ужасу; мы здесь можем и должны.

Кто погубил Россию? Евреи? Нет, русские. Ленин – помесь русского с монголом – арийского Запада с Востоком, не семитским, богорождающим, а монгольским, богоубийственным. Ленин – уже «Евразия». К Ленину от Распутина – вот движение «истинно русского», увы, «христианского», антихристового духа, погубившего Россию.

Мы должны сказать так, чтобы в России услышали: антисемитизм – антихристианство абсолютное. «От иудеев спасение» – Христос во плоти. Ненависть к Израилю – ненависть к плоти Христовой. Израиль не принял Христа? А мы Его приняли, как следует? Когда примем Его мы, то, может быть, примет и Израиль. Он ждет Мессию, – мы думаем Антихриста, а что если Христа? Некогда Израиль Его не узнал, пришедшего; а что если мы сейчас не узнаем Грядущего?

Да, «Апокалипсис наших дней» совершается. Апокалипсис – самая иудейская из всех христианских книг, наиболее соединяющая Новый Завет с Ветхим, – это знал и Розанов. «Весь Израиль спасется», говорит иудей из иудеев, христианин из христиан, апостол Павел. Если Розанов, Вл. Соловьев, Достоевский, Гоголь, Чаадаев – вся ночная вещая, семито-арийская, иудео-христианская душа России права, если «Апокалипсис», действительно, совершается в наши дни, в нашей стране, больше чем когда-либо, где-либо, то, может быть, именно там, в эти дни, и начнется спасение Израиля – наше спасение.

Будь среди нас не поместной, православной, а Вселенской Церкви христианин, он может быть, имел бы право и силу сказать: «Шма Израэль! Слушай, Израиль. Мы погибаем вместе с тобой, потому что между нами произошел бездонный распад, разъятие мира, зазияли колоссальные пустоты, и, если их не закрыть, то в них провалится все. Спаси же себя и нас, или вернее, будем вместе спасаться!»

Пусть такой христианин – «белая ворона», недоклеванная черными, боец между двумя станами, обреченный на гибель, никем не услышанный, – пусть: не слышат теперь – услышат когда-нибудь. Вот почему он говорит неугасаемой любовью Израилю: «Твой Бог и наш один»; с неугасаемой надеждой – христианам: «два Завета один, как Сын и Отец одно».

#### В УЖАСНОМ ОДИНОЧЕСТВЕ [31]

Как знать, не останется ли Учитель (Христос) в ужасном и безысходном одиночестве... Их (большевиков) богохульства – ничего, Бог не обидится... Все ничего, потому что в верном направлении.

Г. В. Адамович. Комментарии. «Числа», II/III.

– А мир-то все-таки идет не туда, куда звал его Христос, и очень похоже на то, что Он останется в ужасном одиночестве, – говорил мне наемный умный и тонкий человек, до мозга костей отравленный чувством конца («не надо ли погасить мир?»), но, кажется, сам еще этого не знающий, хотя постоянно об этом думающий или только постоянно кружащийся около этого и обжигающийся, как ночной мотылек о пламя свечи. Он говорил, как будто немного стыдясь чего-то, может быть, смутно чувствуя, что говорит бездонную глупость и подлость. Строго, впрочем, судить его за это нельзя: немногие сейчас думают, так, можно даже сказать, почти весь «мир», от чего эта мысль не становится, конечно, ни умнее, ни благороднее: может быть, думает так и кое-кто из «христиан», и, если молчит, то едва ли тоже от слишком большого ума и благородства.

Спорить с этим очень трудно, потому что надо для этого стать на почву противника, согласиться с ним, что тут есть предмет для спора, а этого сделать нельзя, самому не оглупев и не оподлев бездонно. Суд большинства признать над Истиной, да еще в религии, – кажется, последней области, этому суду неподвластной, – согласиться, что по приговору большинства, истина может сделаться ложью, а ложь – истиной, – есть ли, в самом деле, что-нибудь глупее и подлее этого?

Сколько сейчас людей против и сколько за Христа, мы не знаем, потому что для веры нет статистики; здесь все решается не количеством, а качеством: «Один для меня десять тысяч, если он лучший» по Гераклиту – и по Христу. Но если бы мы даже знали, что сейчас против Христа почти все, а за Него почти никто, – этим ли бы решался для нас вопрос, быть нам за или против Него?

Когда я напомнил об этом моему собеседнику, он застыдился, как будто побольше, но, увы, стыдом людей не протрешь, особенно, в такие дни, как наши.

«Сын Человеческий придет найдет ли веру на земле?» Если Он Сам об этом спрашивал, то, конечно, потому, что знал Сам, что мир может пойти не туда, куда Он зовет, и что он может остаться в «ужасном одиночестве». И вот, все-таки: Я победил мир.

В том-то и сила Его, что Он не только раз, на кресте, но и потом, сколько раз, и всегда побеждает мир, в «ужасном одиночестве». И если в чем-нибудь, то именно в этом, христианство подобно Христу: можно сказать, только и делало и делает, что побеждает, одно против всех; погибая, спасается. Вот где не страшно сказать: «чем хуже, тем лучше». Только ветром гонений уголь христианства раздувается в пламя, и это до того, что кажется иногда: не быть гонимым, значит для него совсем не быть. Мнимое благополучие, благосклонность равнодушная – самое для него страшное. «Благополучие» длилось века, но, слава Богу, кончается – вот-вот кончится, и христианство вернется в свое естественное состояние – войну Одного против всех.

Дьявол служит Богу, наперекор себе, как однажды признался Фаусту Мефистофель, очень умный дьявол:

...Я часть той Силы, что вечно  
делает добро, желая зла.

В главном все же не признался, – что для него невольное служение Богу – ад.

Русские коммунисты, маленькие дьяволы, «антихристы», служат сейчас Христу, как давно никто не служил. Снять с Евангелия пыль, – привычку, сделать его новым, как будто вчера написанным, таким ужасным – удивительным, каким не было оно с первых дней христианства, – дело это, самое нужное сейчас для

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
христианства, делают русские коммунисты так, что лучше нельзя, отлучая людей от Евангелия, пряча его, ругаясь над ним, запрещая, истребляя. Если бы знали они, что делают! – но не узнают до конца. Только такие маленькие глупые дьяволы, как эти (умны – хитры во всем, кроме этого), могут надеяться истребить Евангелие так, чтобы оно исчезло из мира и памяти людской навсегда. Тот, настоящий, большой Антихрист будет поумнее: «Христу подобен во всем».

Нет, люди не забудут Евангелия. Вспомнят, прочтут, – мы себе и представить не можем, какими глазами, с каким удивлением и ужасом, и какой будет взрыв любви ко Христу. Был ли такой с тех дней, когда Он жил на земле?

Но если даже все это будет не так, или не так скоро, как мы думаем, – может ли быть христианству хуже, чем сейчас, не в его глазах, конечно (в его – «чем хуже, тем лучше»), а в глазах «мира»? Может быть, и может, но что из того?

Ах, бедный друг мой, ночной мотылек, обжигаящийся о пламя свечи, вы только подумайте: если нам суждено увидеть новую победу над христианством человеческой подлости и глупости, а самого Христа в еще более «ужасном одиночестве», то каким надо быть подлецом и глупцом, чтобы покинуть Его в такую минуту, не понять, что ребенку понятно: все Его покинули, предали, – Он один, тут-то Его и любить и верить в Него; кинуться к Нему навстречу, к Царю Сиона, кроткому, ветви с дерев и одежды свои постлать перед Ним по дороге и, если люди молчат, то с камнями вопить: Осанна! Благословен Грядущий во имя Господне!

НОВОГОДНЯЯ АНКЕТА [32]

Дм. С. Мережковский думает об одном:

«Чего я желаю себе и России в наступающем году? – Освобождения.

Как разовьются события в России в будущем году? – Приблизят освобождение.

Когда мы вернемся в Россию? – Скоро!»

ЧТО ТАКОЕ ГУМАНИЗМ [33]

Мудро поставила себя Латинская Академия под знак гуманизма. Следует, однако, помнить, что слово «гуманизм», благодаря своему историческому происхождению и образованию от XV века до XX, получило двойной смысл, один – для Академии выгодный, другой – опасный.

Весь вопрос в том, какой из этих двух смыслов должно иметь слово «гуманизм», чтобы творящие духовные силы Европейского Запада, от Орфея и Вергилия до Данте и Гете, могли быть объединены в борьбе с разрушительными силами, идущими уже не только с Востока, но и из подземных глубин самого Запада, – с «западно-восточным» нашествием варваров; чтобы новый всемирный «Интернационал Человечности» мог быть противопоставлен уже действующему «Интернационалу Бесчеловечности».

«...Я не мог заснуть. Переворачиваясь с боку на бок, я протянул руку. Палец мой ударился об одно из бревен стены. Раздался слабый, но гулкий, как бы протяжный, звук. Я, должно быть, попал на пустое место... Трудно было понять, откуда шел звук... он словно облетал комнату; словно скользил вдоль стен. Я случайно попал на акустическую жилку» («Стук-стук-стук», Тургенев).

Будем надеяться, что Латинская Академия в слове «гуманизм» не случайно попала на такую «акустическую жилку» – «пустое место» в старых-старых стенах нашего европейского дома. Если только сумеет она ударить по ней верно, то гулкий, остерегающий звук облетит весь дом, пробуждая спящих.

Кажется, не нужно доказывать, – это слишком ясно чувствуют все, кто еще может чувствовать, что после войны общий уровень человечности снизился и продолжает снижаться с угрожающей быстротой во всех областях человеческого духа; что совершилась и продолжает совершаться страшная убыль в человеке Человека. Слишком тонкую пленку, легко спадающей, на звериной шкуре позолотой, оказалось во время войны и после нее то, что люди считают непроницаемой броней против зверя в себе и что вторая половина последнего христианского тысячелетия обозначала словом «гуманизм».

Что такое «репарации» в материально-разрушенных войною областях, знают все; но знает ли, помнит ли еще кто-нибудь, что такое «репарации» в драгоценнейшей области духа – человечности?

Все материальные и духовные вещи, после войны, похужели, – в продажной цене своей подорожали, а в непродажной подешевели. Больше же всех вещей похужела и подешевела бывшая некогда для человека «вещь в себе» (das Ding an sich), мера всех для него ценностей, – он сам, – абсолютное, внутреннее Лицо его, Личность. В страшном опыте войны оказалось, что Лицо человеческое вовсе не так прочно держится на человеке, как он предполагал; что оно снимается, с неожиданной и безболезненной легкостью, само спадает, как маска после маскарада – «цивилизации», «прогресса», «прав человека», «христианства» и проч. и проч. Вдруг появились и размножились бесчисленно мнимые люди, оголенные, скинувшие с себя человеческое лицо, как ненужную маску, – Человекообразные Антропоиды.

Как бы ни были различны и даже противоположны друг другу, в исходных точках своих, коммунисты, фашисты, гитлеровцы, – все они объединяются в последнем выводе: человеку, как «вещи в себе», грош цена; лицо человеческое, личность, есть нечто условное, в классе, в государстве, в нации; человек в обществе, муравей в муравейнике, клетка в организме, атом в материи, почти ничто сегодня, а завтра ничто совсем.

Хуже всего, что это нашествие Человекообразных происходит, может быть, не только после первой, вчерашней войны, но и перед второй, завтрашней; судя по опыту первой, более чем вероятно, что, если не минует нас вторая, то Антропоид восторжествует над Человеком окончательно, и род человеческий заменится новым родом нечеловеческим. Надо быть убаюканным признаками, чтобы все еще считать опасность эту призрачной.

Вот на какую «акустическую жилку» попала, вот по какому «пустому месту» в старых бревнах европейского дома ударила Латинская Академия в слове «гуманизм». В нашу глухую ночь, среди общего сна и беспамятства, раздался или мог бы раздаться в этом слове спасительно-остерегающий звук – зов, обращенный ко всем, еще сохранившим лицо человеческое, объединиться во всемирный союз для борьбы с «западно-восточным» нашествием варваров.

Внятность для всех, кто еще может внимать, – такова выгода слова «гуманизм». В чем же его опасность?

Первородный грех гуманизма – атеизм. При первом возникновении своем в эпоху Итальянского Возрождения гуманизм есть бунт освобождаемого, будто бы человеческого духа сначала только против внешних церковных форм, а потом и против внутреннего существа христианства. В бунте этом человек утверждает, как нечто абсолютное, против Бога: он сам себе Бог; все под ним, а над ним ничего. Первых гуманистов XV века соединяет с энциклопедистами XVIII века непрерывная линия духовного родства. В легком вольнодумстве Лоренцо Валла и Гвидо Кавальканти уже заключено вольтеровское, самое тяжелое из тяжелых, и скажем правду, вопреки авторитету умнейшего из людей, – самое глупое из глупых человеческих слов: *ecrasez l'Infame!*

Горький опыт двух последних веков показал нам, что союз гуманизма с атеизмом – роковой, убийственный для первого. С каждым днем все ясней осязается нами нерасторжимая связь истинного гуманизма – утверждения абсолютной человеческой личности с религией вообще и с христианством в частности; с каждым днем мы все яснее убеждаемся бесчисленными «доказательствами от противного», что лицо человеческое, если оно не «образ и подобие Божие», есть пустая маска, слишком легко спадающая с человекоподобного зверя, или, не будем обижать зверей, – с дьявола, что человек – самое неустойчивое из всех равновесий между Богом и дьяволом: если не восходит он бесконечно к Богу, то так же бесконечно – скажем на языке «детски мифологическом», но и детски понятном для всех – нисходит в «ад».

Пусть еще не все антихристиане скинули с себя лицо человеческое, но уже все «човекообразные» явно, на словах и на деле, как русские коммунисты, или тайно, только на деле, без слов, как фашисты и гитлеровцы, скинули с себя маску христианства. Надо быть слепым, чтобы не видеть, что мир сейчас разделился на два воюющих стана: за и против человека, за и против Христа.



Перед угрожающим нашествием варваров – бесчеловечных, пора, наконец, вспомнить, что единственно – непреложная мера человечности – совершеннейший Человек, какой когда-либо был и будет на земле, – Сын человеческий, Сын Божий. Только Он – действительный основатель гуманизма, в новом синтетическом смысле, том самом, в котором, будем надеяться, употребляет это слово Латинская Академия. Великое дело совершит она, если обратит в христианство, крестит гуманизм; если будет способствовать тому, чтобы поднят был над западноевропейским человечеством в борьбе его за Человека древний и новый, вечный лабарум (labarum), знамение Христово: *in hoc signo vincis*.

ЗАГОН, ЧТО НАЗЫВАЛИ РОССИЕЙ, И ЗАГОН, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ «ЭМИГРАЦИЕЙ»[34]

Русский «закон и пророки». – «Придет наказание, когда его не будете ждать». – Террор российской и террор французской революции. – Выводы Достоевского. – Сила креста и сила земли. – «Скверный анекдот» с русским народом.

Россия в изгнании, называющая себя неверным и недостаточным словом «эмиграция», похожа на Израиля в «эллинском рассеянии» или в «вавилонском пленении» (кажется, последнее вернее). Душу Израиля спасло Священное Писание, «Закон и Пророки»; душу России в изгнании могла бы спасти великая русская литература – эмигрантский «Закон и Пророки».

Но для этого нужно бы увидеть их новыми или, как нынче говорится, «пореволюционными» глазами, новую мысль передумать, новым сердцем пережить. А этого сделать нельзя без новой, «пореволюционной» тоже, критики. Но ее-то и нет. Сколько в «эмиграции» (будем употреблять иногда это недостаточное, но всем понятное слово), сколько в «эмиграции» старых и новых писателей и ни одного равного им критика. Эмиграция себя не судит («критика» значит «суд») под тем предлогом, что нельзя друг друга судить в виду врагов; бороться друг с другом нельзя, в тесноте, на плавучей льдине изгнания; говорят о себе, как о мертвых, «или хорошо, или ничего». *Aut bene, aut nihil*. Критиков же, судей, убивают или делают все, чтобы их убить, потому что внутренней критики – совести – нельзя убить совсем: слишком живуча эта змея.

Кажется, главная причина медленного, но страшно неуклонного умственного и нравственного падения «эмиграции» – это убийство Критики. То же, что сознание в личности, – критика в обществе: ее конец – конец сознания. Пала эмиграция и лежит без сознания. «Душа унижена до праха» и каждый проходящий может ее топтать, как прах.

Русский «Закон и Пророки» – наша великая литература. Что нам делать, говорит «Закон»; что с нами будет, говорят «Пророки». Если над нами исполнилась с такой ужасающей точностью первая половина пророчества, то, вероятно, и вторая половина исполнится.

«В России живет народ, который дик и зол... Я сторонний человек и могу судить свободно: русский народ зол; но и это еще ничего, а хуже всего то, что ему говорят ложь и внушают, что дурное хорошо, а хорошее дурно. Вспомни мои слова: за это придет наказание, когда его не будете ждать». Это в рассказе Лескова «Загон» говорит русскому юноше обрусевший англичанин в самом конце крепостного права, в начале 60-х годов.

Страшным словом «Загон» определяет он исторические, политические, социальные и религиозные судьбы России: тыном огороженное место, куда загоняют ожидающий бойни скот, – вот что такое «загон». Крайнему северо-востоку Европы – географической глуши, захолустью, «Евразии» – месту России в мире вещественном, соответствует также место в мире духовном. Был один «загон» внутренний, тот, что называли когда-то «Россией», а теперь их два: внутренний и внешний, тот, что называется сейчас «эмиграцией»; но в обоих одинаково считают русских за овец, обреченных на заклание.

«Русский народ дик и зол». Значит ли это: «зол», потому что «дик»? Между «злом» и «дикостью», с одной стороны, «добром» и «цивилизацией», с другой, – существует ли в народах-обществах такая же необходимая, внутренняя связь, как в отдельных личностях?

Был ли французский народ, один из «просвещеннейших», менее «зол» в терроре 93-го года, чем русский, «дикий» народ в своем терроре? Не был ли «злее»

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
всех народов, бывших и будущих, тот, что кричал Пилату: «Распни!» – народ Божий, просвещенный светом божественным? Можно ли о каком бы то ни было народе сказать: весь добр или весь зол?

«Что ты Меня называешь добрым – благим? Никто не благ, как только один Бог» (Марк. 10, 18).

Если это говорит о Себе Сын человеческий, то тем более можно было бы это сказать обо всем роде человеческом.

Кажется, корень зла в русском народе видит Лесков не столько в самом зле, сколько в смешении зла с добром: «Хуже всего то, что народу говорят ложь и внушают ему, что дурное хорошо, а хорошее дурно... За это придет наказание». – «Нелегко разобрать, куда мы подвигаемся, идучи так, на ножах, которыми хочется кому-то все путное на клочья порезать, но одно только покуда во всем этом ясно: все это – пролог чего-то большого, что неотразимо должно наступить» («На ножах», Лесков).

Самое страшное в этих пророческих словах, может быть, то, что они так спокойно и просто, как будто мимоходом, сказаны. То же, что в «Бесах» Достоевского, в целой книге, сказано, здесь – в одной строке. Но каждое слово в ней огнем и кровью наливается – огнем, в котором сгорела, и кровью, в которой потонула Россия. Только теперь загнанные в оба скотских «загона» – в бывшую Россию и в эмиграцию, только новыми, «пореволюционными» глазами перечитывают или могли бы перечесть эти слова как следует; только теперь видят или могли бы увидеть в них свой приговор.

«Многое впереди загадка, и до того, что даже страшно и ждать... наших детей и нас, может быть, ожидает что-то ужасное», – так же спокойно и просто, как будто мимоходом, нечаянно, повторяет Лескова Достоевский («Дневник писателя». 1876. февраль. I). Оба приходят к одному и тому же выводу из двух как будто противоположнейших посылок. «Русский народ дик и зол», – утверждает Лесков; «Народ наш разумен и тих», – утверждает Достоевский. – «Пусть он груб, и безобразен, и грешен, но приди только срок его, начнись дело всеобщей, всенародной правды, и вас изумит та степень свободы, которую проявит он, под гнетом материализма, страстей, денежной и имущественной похоти, и даже перед страхом жесточайшей, мученической смерти» («Дневник писателя». 1877. январь. I). – «Что лучше – мы или народ?.. Отвечу искренне: мы должны преклоняться перед народом и ждать от него всего... как блудные дети, двести лет не бывшие дома, но возвратившиеся все-таки русскими» (1876. февраль. I). – «Суть христианства... дух и правда его сохранились и укрепились в нашем народе... так, как, может быть, ни в одном из народов мира сего» (1877. март. I). – «Правда Христова... хоть где-нибудь, да должна же сохраниться; хоть какая-нибудь из наций должна же светить... Солнце показалось на Востоке (в России), начинается новый день... К тому идет» (1877. февраль. I).

Все это значит: «Русский народ – Богоносец»; место его в мире – не скотский «загон», а высота, где воздвигнется Град Божий, Новый Сион. Это для Достоевского вывод не из отвлеченного мышления, а из религиозного опыта, в котором соединяется для него бывшее с будущим, начало жизни – с ее концом, первое воспоминание – с последним пророчеством...

«Вспомнилось мне одно мгновение из моего первого детства, когда мне было лет девять... Август месяц в нашей деревне; день сухой и ясный... Я прошел за гумна... забился в кусты, и слышу, как недалеко, шагах в тридцати, на поляне, одиноко пашет мужик... Вдруг среди глубокой тишины я услышал крик: „Волк бежит“. Вне себя от испуга, крича в голос, я выбежал на поляну, прямо на пашущего мужика... Это был наш мужик Марей... Он остановил кобыленку, заслышав крик мой, и когда я, разбежавшись, уцепился одной рукой за его соху, а другой – за его рукав, то он разглядел мой испуг.

– Волк бежит! – прокричал я, задыхаясь.

Он вскинул голову и невольно огляделся кругом, на одно мгновение почти мне поверив.

– Что ты, что ты, какой волк, померещилось, вишь? Какому волку тут быть! – бормотал он, ободряя меня.

Но я весь трясся и еще крепче уцепился за его зипун. Углы губ моих

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
вздрагивали, и, кажется, это особенно его поразило. Он протянул тихонько свой толстый палец, с черным ногтем, запачканный в земле, и тихонько дотронулся до моих губ.

– Ишь ведь, ай, – улыбнулся он мне какою-то материнской улыбкой.

Я понял, наконец, что волка нет и что крик: „Волк бежит!“ – мне померещился.

– Ну, ступай, а я те вслед посмотрю. Уж я тебя волку не дам! – прибавил он, все так же матерински мне улыбаясь. – Ну, Христос с тобой!

И он перекрестил меня и сам перекрестился... Если бы я был собственным сыном его, он не мог бы посмотреть на меня сияющим более светлой любовью взглядом».

Это вспомнилось Достоевскому лет через пятнадцать, в Сибири, на каторге, в день Светлого праздника.

«Я считался за казармами острога... Мне встретился М-цкий, из политических: он мрачно посмотрел на меня, глаза его сверкнули, и губы затряслись.

„Je hais ces brigands!“ – проскрежетал он мне вполголоса и прошел мимо» («Дневник писателя». 1876. Февраль. III).

Вспомнилось и через пятьдесят лет, в конце жизни, когда писал Достоевский о «русском народе, Богоносце».

«Je hais ces brigands». – «Я ненавижу этих разбойников!» – это значит: «Русский народ дик и зол». – «Наших детей и нас ждет что-то ужасное». «Волк бежит!» – на этот крик ужаса отвечает «с материнской улыбкой» мужик Марей – «русский народ, Богоносец»: «Уж я тебя волку не дам!» И крестится, и крестит мальчика. «Два спасения от грозящей русскому народу гибели: сила Креста и сила Земли». Пальцем, запачканным в земле, прикасался мужик Марей к устам нареченного сына своего, Достоевского; как тот пустынный серафим отверзает уста пророка.

«Видно, прошли сроки уже чему-то вековечному... что приготавлилось в мире с самого начала его цивилизации» («Дневник писателя». 1877. Январь. I). – «Точно все перекопано и наполнено порохом (в Западной Европе) и ждет только первой искры» (1876. Апрель. I). – «Все ждут войны с коммунизмом... врагом всей Европы... У миллионов демоса, во главе всех желаний, стоит грабеж собственников... В том-то и заключается вся „социальная идея“, о которой им толкуют их вожаки... Они (коммунисты) победят несомненно, и если только богатые не уступят вовремя, то совершатся страшные дела» (1876. Март. I). – «В России же этого не может быть совсем: наш народ доволен, и чем далее, тем более будет доволен... А потому и останется только один колосс на континенте Европы – Россия... Это случится, может быть, гораздо скорее, чем думают. Будущность Европы принадлежит России!» (1876. Апрель. I).

Все это и значит: «Солнце показалось на Востоке, и с Востока начинается для человечества новый день». Русского народа, Богоносца, – мужика Марей лицо, – вот над миром восходящее солнце.

Но если бы Достоевский не предчувствовал, что, прежде чем взойдет солнце, «нас ждет что-то ужасное»; что остерегающий крик: «Волк бежит» – ему не совсем померещился и что не бывший и не настоящий, а только будущий русский народ явит лик Богоносца; если бы Достоевский всего этого не предчувствовал, то мог ли бы написать самую вещь из всех своих книг – «Бесов»?

Русский народ оказался гадаринским бесноватым.

«Он имел жилище в гробах, и никто не мог связать его даже цепями, потому что многократно был скован оковами; но разрывал цепи и разбивал оковы; и никто не в силах был укротить его» (Марк. 5, 3–4).

Оборотнем оказался мужик Марей. Только что успокаивал испуганного мальчика: «Уж я тебя волку не дам!» – и вот, сам вдруг обернулся волком; страшно исказилось лицо: вместо «материнской улыбки» волчий оскал зубов; волком воет, бежит в лесную дичь и глушь, в звериное логово – «Евразию».

Будь у эмиграции новое, действительно «пореволуционное» сознание – критика, – поняли бы, может быть, как мог произойти этот, говоря языком Достоевского, «скверный анекдот» с русским народом-Богоносцем.

Самая терзающая мука – даже не само убийство России, а то, что русский народ – пусть даже не весь, а только малая часть его (есть ли тут мера большого и малого?), – оказался сообщником убийц России; что с такою внезапною легкостью предал он свою тысячелетнюю святыню – христианство, и надругался над ней. «Вспомни мои слова: за это придет наказание, когда его не будете ждать».

Между «Преступлением и наказанием» (одна из глубочайших тем Достоевского) связь нерасторжима, в нравственном законе так же, как в законе механики: угол падения равен углу отражения; злые будут наказаны, добрые – награждены. Но в свободе Христовой связь эта как будто расторгнута и даже опрокинута: добрые наказаны, злые награждены. Так – в низшем порядке, эмпирическом, а в религиозном, высшем, – зло само себя казнит погружением в себя, отпадением от высшей сферы бытия – Добра-Бога; и добро само себя награждает приобщением к этой высшей сфере.

Самое страшное в убийстве России то, что все еще русский народ или какая-то часть его остается с Каиновым клеймом на лбу, окаянной и нераскаянной; что зло сейчас в России победило, добро побеждено, как нигде и никогда. Самая терзающая мука – вопрос без ответа: за что? За что страдают невинные? Будь у эмиграции критика – общая совесть, общее сознание, – поняли бы, может быть, что спрашивать надо не «за что?», а «для чего?»; поняли бы «соблазн и безумие Креста»: для чего пострадал на кресте невиннейший...

«И проходя, увидел Иисус человека, слепого от рождения.

Ученики Его спросили у Него: Равви! Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?

Иисус отвечал: не согрешил он, ни родители его; но это для того, чтобы на нем явились дела Божии» (Иоанн. 9, 1–3).

Будь у эмиграции критика, поняли бы, какое великое дело Божие совершается сейчас в невинных муках России.

Первая половина пророчества Достоевского уже исполнилась с ужасающей точностью: «бесы» вошли в русский народ или в какую-то часть его; будь у нас критика, поняли бы, может быть, что и вторая половина исполнится с такою же точностью.

«Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло...

И (люди) вышли видеть происшедшее; и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме; и ужаснулись» (Лука 8, 33–35).

Пусть то, что происходит сейчас в России, так же как в эмиграции, – в этих двух скотских «загонах» – все еще для Европы, для Европы, для мира, – только «скверный анекдот с русским народом-Богоносцем»; но когда сам мир когда-нибудь придет к Христу, то, может быть, увидит, что исцеленный бесноватый сидит у ног Его, и ужаснется, и поймет, для чего невинно страдала Россия.

ОКОЛО ВАЖНОГО (О «числах») [35]

Кто нынче не говорит об «упадке» – внутреннем, культурном и всяческом, – русской эмиграции? Если речь о том, что ухудшились условия ее существования, увеличилась трудность жизни, – я понимаю. Нечего и повторять в сотый раз то, что нам всем отлично известно. И как, значит, живуча эта маленькая часть России, – европейская, – и какая в ней сила, ежели и среди такой беспримерной беды, она вовсе не находится в упадке: напротив, есть верный знак некоего расцвета: ее литература. Знаю, сейчас же закричат: ах, литература! Что такое литература? Почему литература? Да и где она?

Насчет нынешнего бедственного положения литературы мы опять все знаем: книг

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
не покупают, журналов – один-два и обчелся, на свет Божий появиться все равно, что гору сдвинуть. Еще одно доказательство силы, когда гора сдвигается, что-то на свет появляется. На вопрос же, почему литература может быть знаком общего упадка или общего восхождения, ответ не труден. Надо только вспомнить, что мы говорим о русской литературе. В России множество прямых дорог и дорожек было заказано. Но жизнь взяла свое; все пути влились в литературу, и она стала больше, чем литература. Оттого, может быть, и достигла она такого трагизма – и таких высот. И оттого период упадка литературы был в прежней России периодом общего упадка, а всякое литературное оживление – знаком, что жизнь пробудилась и куда-то идет. Лозунг «искусство для искусства» никогда не был у нас влиятельным; его приверженцы никогда не выходили из низин. Я даже думаю: не одни только внешние условия (некоторая несвобода) сделали русскую литературу больше литературы. Есть и другие причины, вечные, от свойств русской души идущие. Физически придавить литературу можно, – как здешняя придавлена тяжелой борьбой за существование. Можно, оказывается, и совсем задавить, как задавлена она в СССР. «Бей ее обухом, нагнись да послухай: дышит, да бормочет, – значит, еще хочет». Но когда обух вывалится из обезьяньих лап, когда отдышится жертва (не скоро, может быть), – она возьмет свое и вечное лицо найдет. Но здесь, в Европе, мы и сейчас не задавлены, – только придавлены камнем труда. Тяжел камень, – а вот, справляемся, да еще как! Шоферы, маляры, разносчики, возчики, пишут... это бы еще пусть, но чудеснее, что они и на свет Божий появляются. Старой, жидкой официальной прессе, газетной, с толстым журналом в придачу, – они не нужны: у нее свои, поношенные, сотрудники и свои цензурные условия. Как же явиться на свет? Новая литература не хочет быть «портфельной»: и портфелей ни у кого нету, да и не уйдешь с ними далеко. И вот чудеса начинаются. Не чудо ли, например, что в эмиграции могут выходить «числа»? Критикуйте журнал как угодно (даже последний номер, один из лучших), – он этого, во-первых, не боится, а во-вторых, – даже самая злостная критика почти всегда на пользу автору. Но явление «Чисел» остается чудесным, а то, что это явление настоящей новой русской литературы, – несомненно. Новый сад. И не «ростки» какие-нибудь, а уже молодые, хотя еще и невысокие, деревья; есть и кривые, они, может быть, не примутся, засохнут. Но сад будет, – уже есть, – и прививка у него – русская.

Разбирать каждую статью в номере «Чисел» я не буду. Все статьи характерны для своих авторов; но, во-первых, есть у каждого и другие, столь же характерные, а, во-вторых, меня занимает сейчас общее движение, которое эти авторы создают, при всем своем явном многообразии. Все они почти сплошь талантливы, – это надо заметить и запомнить, хотя «талантливость» еще ничего не говорит. Слово «талант» по-разному понимается. Чтобы прослыть талантливым писателем, довольно иногда умелого сочетания слов, удачного стиля и т. д. Но чтобы талантливым писателем быть, – таких вещей, пожалуй, недостаточно.

Укажу только на одного, совсем нового, романиста в «Числах» – Агеева. Не первая ли это его вещь? Когда он успел «выписаться», если выписываться надо? У него прекрасный, образный язык. Не уступает, с одной стороны, Бунину, с другой – Сирину. Соединяет (в языке, в изобразительности) плотную, по старым образцам вытканную, материю бунинского стиля с новейшей блестящей тканью Сирина. Это – внешность. А дальше – надо забыть и Бунина с его плотностью, и Сирина с пустым блеском искусственного шелка, а вспомнить... пожалуй, Достоевского, – только Достоевского тридцатых годов нашего века.

Быть может, Агеев окажется и кривым деревом, и засохнет. Но сейчас он как нельзя больше среди «своих», в «Числах», один из являющей многообразия, новой русской литературы, – той, которая непременно хочет стать больше литературы. Не все ли они, сегодняшние эмигрантские ее начинатели, неустанно, то смело, то робко, то удачно, то неудачно, бродят около важного? Ничего, что еще «около»: это поиски новых, правдивых слов новых смыслов.

Противоречия? Несогласия? Провалы? Так и должно быть. И это знаки не плохие. Например: редактор «Чисел», сам поэт, в номере «Чисел» поместивший свою поэму, – в том же номере, вдруг написал статью о том, что нечего «нянчиться» со своими стихами и литературой, что преимущество за «жизнью». Статья – с перегибом, да и написана не совсем отчетливо. Но потому и возбудила она, вероятно, такие протесты и споры, сами по себе интересные. Кто же, мол, «нянчится» со своим писательством? Неужели мы равнодушны к

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
жизни, ко всем ее вопросам? Уж не хочет ли Оцуп сказать, что мы исповедуем «искусство для искусства»? Последнее особенно возмущает. Письменные протесты и возражения с самых разнообразных сторон сводятся в общем к одному. В статье своей, Оцуп мог высказать с ясностью простую мысль: у человека должна быть в жизни высшая святость, ради которой он, при выборе пошлет себя со своими писаниями к черту. Скажи он так, никто, полагаю, возражать бы не стал. Потому что никто из «чистой» литературы своей последней святости не думает делать... ну, а та, сегодня-завтрашняя, если будет, – непременно опять будет «больше литературы».

Бродя «около важного», молодая литература очень упорно бродит около вопроса о «личности и коллективе». Ее упрекают, что она занимается «человеком» преимущественно, – какой, мол, индивидуализм! Старое слово, а перегиб в сторону изображения внутреннего «человека», – не понятен ли именно сейчас, именно для нас, русских? Не наша ли родина требует убийства человека? И не потому ли мы ее оставили, – «с любимой женой развелись» (по слову одного молодого писателя) – что не хотим этого требования исполнять? Но неверно, что на «человеке» заканчивает себя эмигрантская литература; что нет в ней вопроса и о «соединении людей», – вопроса загадочного, неразрешимого, но каждым временем по-своему решаемого.

Г. Федоров из Чехословакии напрасно так горько жалуется на безвыходную, будто бы судьбу молодых писателей: не беспокойтесь, справятся. Напрасно он также обрушивается на главных давителей, называя их столичной (парижской?) «элитой». В каком смысле они «элита»? В том, что заведуют и распоряжаются нашей газетной прессой? Если уж быть точным, то «элитой», и «столичной», следует назвать вот ту самую группу молодых парижских писателей, которую Г. Федоров почему-то выделяет из других «провинциальных», упрекая в подражательности литературе европейской. Это еще надо доказать, что они перестали быть русскими писателями. А то, что они, несмотря на такие же тяжкие условия жизни, как везде, присматриваются ближе к европейской жизни и литературе, к дыханию «свободы», – делает их, несомненно, группой самой культурной. «Научиться культуре», – не одна ли из задач, поставленных нам судьбой? Бояться Прустов и Джойсов, высасывая из пальца патриотические стишки, браня злых дядей-редакторов, которые их не печатают, этим ни России, ни себе не поможешь.

#### О ХОРОШЕМ ВКУСЕ И СВОБОДЕ [36]

Не рассердится на меня, думаю, и философ, если насчет маленького литературного вопроса и В. Федорова я буду упорен. Другой вопрос, о «климатах» (Праги, Варшавы, Парижа), существеннее; но он никакой, мне кажется, связи с первым не имеет; о нем лучше поговорить отдельно.

При чем тут символизм? Рассуждения В. Федорова очень конкретны. И не он один ими в «Мече» занимается. Вопрос? Нет, просто надоевшие жалобы молодых писателей на эмигрантскую печать: «захватившие власть» редакторы не дают им ходу. Молодые все равно будут жаловаться. Жаловались и в России, где журналов были сотни, а не два-три, как сейчас в эмиграции. И, сравнительно, дело обстоит не так уж плохо. Могло бы быть и хуже. Редакторы довольно либеральны и к молодым благожелательны. Конечно, «далеко не все благополучно в Датском государстве» – в эмигрантской литературе. Но где, спрашивается, сейчас благополучно? Вот бы попросить Бема: «Укажи мне такую обитель»... А когда видишь напряженное внимание к «вопросу», поставленному В. Федоровым, заботу старых и молодых что ему, Федорову, негде печататься (а ведь парижане печатаются и в «Современных записках», и в «столичных» газетах), то, ей-Богу, не символическим парижанам с их защитниками, а всей «литературе» хочется сказать: да провались она к черту! Довольно! Поговорим о другом. О «хорошем и дурном вкусе», например.

Но тут мне приходит в голову еще одно маленькое наблюдение. Страстно обсуждая «неблагополучие» нашей печати, «Меч» неизменно упоминает, всякий раз, Адамовича; не то как пример, не то как пособника этого неблагоприятия. Жалобы или негодование, – без Адамовича никто не обходится. Через две-три фразы – «безответственный» Адамович. Это умный и тонкий литературный критик, сейчас даже единственный, пишет прекрасным языком. О нем и его писаниях много можно было бы сказать, но никто ничего не говорит: «безответственный» Адамович, и кончено. Быть может, это просто вывод из того обстоятельства, что критик пишет в газете Милюкова? Но с такой простотой можно и не согласиться. Адамович, конечно, не вполне свободен... в выборе тем. Есть в «Последних новостях» темы недозволенные. Но какая же это

Я его не защищаю. Я только даю совет: поискать вины Адамовича в «дозволенных» его писаниях и, если она там найдется, тогда уж и выводить его на свежую воду: «смотрите, дети, вот пример для вас»... Никто слова не скажет, а «детям» будет польза.

Не собираюсь я защищать и «мериносов» (по выражению философа), т. е. «парижан» от воздвигнутых на них обвинений. Сами себя защитят, – сумеют, а философ ошибается (разница «климатов»), – я им не «пастырь». О защите же философским «дурного вкуса» стоит поговорить.

В сущности философ совпал с Федотовым из Нового Града (см. рецензию о «Мече»). «Парижан» он считает просто-напросто «равнодушными к политике». (Остальное между строк.) Будем откровенны: такими же равнодушными «упадочниками», ни о чем, кроме «хорошего вкуса», не думающими, не считает ли их и философ? Даром, что ли, противопоставляет он этим «Октавам» Мюссе – Жюльенов Стендаля, своих «активистов»? Демократический Новый Град «активизма» и в них не видит. Это бы понятно; но ничего такого, во-первых, не вижу и я; а, во-вторых, я не вижу, для чего философу понадобился этот зыбкий литературный пример Октава и Жюльена? И как ему пришло в голову, что действительность (чтобы не сказать «активизм») и воля могут (или должны) соединиться с «дурным вкусом»? Литературные примеры, – их куда хочешь, туда и повернешь; и не беда, что современные эмигрантские Жюльены еще Жюльенами себя не проявили: можно уверять, что проявят... Есть, однако, Всемирная История: там стоит поискать. Увидишь, пожалуй, что не только не мешает «хороший вкус» воле к жизни и действию, – увидишь и больше: что без хорошего вкуса всякий «активизм» останется «литературой». Греки, во время персидских войн, достаточно свой «хороший вкус» оправдали...

Уж, конечно, не я буду ставить эстетику на первое место; не ставят ее и наши «парижане» и, наверно, добьются когда-нибудь того, что им поверят. Но от «хорошего вкуса» они, конечно, не откажутся, и хорошо сделают. Без вечной триады, на которой так настаивал Вл. Соловьев, – «Истина, Добро, Красота» – никак не обойтись. «Парижане», действительно, «равнодушны» к проповеди старых по-революционероу и нео-демократов из Нового Града, где Бердяев стучит молотком по голове: «свобода, свобода!» Это, однако, еще не признак, что они все «Октавы» и утонченно сойдут на нет. Во всяком случае, мне кажется, не следует поощрять захолустности, провинциализма, ради чего бы то ни было. К «дурному вкусу» должно относиться с той же суровостью, с какой мы относимся ко всякому другому несчастному свойству русского эмигранта. Прощать многим многое можно, и долго прощать – дело другое: его никакая тактика не оправдывает. Я не «пасу» никого, но когда меня спрашивают, я одинаково указываю на обе опасности: и на то, что называется «дурным вкусом», и на обожествление «хорошего». Это – правда, которая от «климата» не зависит; беда, если мы о ней забудем и заговорим, поддавшись «климатическим» влияниям.

Философов, кажется, их не избег. Он заверяет, что символические и не символические провинциалы полны «дурного вкуса», но «несомненно ищут свое подлинное бытие в пафосе Жюльена» и «твердо знают, что якобинца, который хочет их арестовать, лучше застрелить». А «парижане» «в величии хорошего вкуса» не об этом думают: они читают Джойса.

Мы опасаемся что-нибудь утверждать насчет «подлинного бытия» этих активистов, предполагаемого «якобинца» и «выстрела»; мы не знаем о них пока ничего. Почему «парижане» с философским менее осторожны? Почему так уверенно судят о нашем «подлинном бытии», – на основании Джойса? Они тоже ничего не знают ни о здешнем «климате», ни о нас: ничего, только о нашем «хорошем вкусе».

Кстати, насчет Джойса. Если дело в настоящем Джойсе-писателе, то, по-моему, особой нужды в нем нет, хотя и «бояться» его тоже нет резона. Если же, как я подозреваю, для философа и «провинциалов» Джойс некий символ и разумеют они современную иностранную литературу (всяких «Прустов, Мориаков, Честертонов»... а ведь с этого речь и началась!), тут уж разговор другой. Я глубоко убежден, что новое знакомство, – с таким проникновенным писателем, как Честертон, например, – не отнимет активизма у русского эмигранта. А склонному к литературе и поэзии поможет с большим вкусом разбираться в Лермонтове, Пушкине... Гумилеве, вообще в литературе отечественной.

Быть человеком – значит иметь возможность двигаться не только телесно, физически, но и нравственно, духовно, вверх и вниз, в высоту или в низину, к добру или к злу. Человек есть единственное в мире существо глубокое и высокое, единственная мера всех духовных глубин и высот.

Но вот в нашем человеческом мире, трехмерном, появились существа какого-то иного двухмерного мира, где нет ни высот, ни глубин, а есть только плоскости, и сами эти существа тоже абсолютно плоские. Эти существа в человечестве были всегда. Первым увидел и узнал их Достоевский в лакее Смердякове.

В кровавой слякоти Великой войны родился иной Смердяков, исполинских размеров, абсолютно плоское существо, и родил бесчисленное множество себе подобных.

В русском коммунизме воля к социальному равенству становится волей к абсолютной плоскости, к уничтожению всех глубин и высот. Это как бы исполинский пресс, вдавливающий человеческую личность в толщу «паусной икры».

Эти Смердяковы, абсолютно плоские, уже ничего не стыдятся и не страшатся. Никогда не убьют они себя и никогда не перестанут убивать других, чтобы осуществить свою плоскость и сделать всех подобными себе. Средство у них для этого только одно – истребление всех не двухмерных, не плоских существ.

Надо спрашивать не о том, можем ли мы, русские люди, примириться с русскими коммунистами или вообще с коммунистами, а о том, могут ли они примириться с нами. Нет, не могут. Между ними и нами происходит борьба не двух политико-социально-нравственных, философских и религиозных мирозерцаний, а двух миров, двух метафизических порядков бытия. Им быть – не быть нам, нам быть – не быть им.

Самый вопрос о возможности «эволюции» в русском коммунизме, об отказе его от неизбежного для него, непрерывного физического и духовного человекоубийства – самый этот вопрос уже показывает, что в самих спрашивающих уже совершилась нужная для коммунистов «эволюция» в их сторону.

Так как власть русских коммунистов, действующая силой, действий своих ни изменить, ни прекратить не может, то мы считаем, что без действий на нее тоже силой, без ее насильственного свержения нельзя положить начало воскрешению человека ни в России, ни в мире.

Каждый, кто бы ни начал войну с русскими коммунистами, будет воевать, хочет ли он этого или не хочет, знает или не знает, не с Россией, а за нее, и не только за нее, а за все человечество, ибо торжество того мира, нечеловеческого, двухмерного, есть гибель нашего, трехмерного, глубокого и высокого человеческого мира.

И нет той цены, которую нельзя было бы заплатить за победу в этой борьбе, ибо самой высокой цены стоит человек и человечество.

#### О ВОЗВРАЩЕНИИ КУПРИНА В СССР [38]

Со времени перехода Савинковым советской границы – это самый большой удар по эмиграции. Чувство огорчения и досады охватило многих при прочтении известия об отъезде Куприна.

Отъезду Куприна не надо, конечно, придавать никакого политического значения. Это – явление чисто бытовое, бегство от бедности, от голода.

И, добавлю – бесконечно жаль, что Куприн, проживший большую, честную жизнь, заканчивает ее так грустно.

#### БОЛЬШЕВИЗМ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО [39]

Торжество всех видов жестокости, лжи и человеческой низости достигло за последнюю четверть века в России таких размеров, что даже самые мужественные и верующие люди стали сомневаться в началах справедливости и



Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
начали верить в конечное торжество Зла на земле. Но вот прозвучал глас трубы Архангела, возвестивший Страшный Суд и Воскресение мертвых. Ведь миллионы людей нашей старой Руси сейчас воскресают и выходят из своих могил.

Чтобы осознать огромные размеры той задачи, которую приняла на себя Германия в борьбе против большевизма, нужно понимать его в самых глубинах его природы, в его неизменной сущности, которая всегда остается той же, несмотря на призрачное превращение. Большевизм никогда не изменит своей природы, как многоугольник никогда не станет кругом, хотя можно увеличить до бесконечности число его сторон. Европейцы едва начинают это понимать, но русским объяснять этого не нужно, они достаточно больно чувствуют раны, которые им наносят острые углы этого мнимого круга.

Основная причина этой неизменности большевизма заключается в том, что он никогда не был национальным, это всегда было интернациональное явление; с первого дня его возникновения Россия, подобно любой стране, была и остается для большевизма средством для достижения конечной цели – захвата мирового владычества.

...весь мир разрушим...

Кто был ничем, тот станет всем.

Таков смысл существования большевизма, в этом его жизнь, его дух, от которого он не откажется до последнего вздоха.

«Рано или поздно русская революция войдет в столкновение со всей Европой» – это твердили и повторяли в продолжении двадцати лет русские эмигранты. Но Европа, внимательно следившая за этой революцией, видела только ее внешние проявления: дух большевизма оставался для нее загадкой. Но русская революция была не только политической, одновременно она была богоборческой. Вот это труднее всего было понять Европе, где уже давно привыкли видеть в религии только одну политику.

«Все в Европе давно затянута илом», по выражению давнишнего русского эмигранта Герцена. Каким образом Европу затянуло илом? На дне ее когда-то глубоких вод стал накапливаться ил, и, постепенно поднимаясь, он покрыл ее поверхность. Этот процесс загнивания шел медленно в Европе, но в коммунистической России он с поразительной быстротой засосал в пучину глубокие воды духа, которые исчезли, как при землетрясении. Это поглощение христианского духа, прежде столь богатого своей глубиной, может быть изображено геометрической формулой – от трех измерений к двум измерениям, от стереометрии к планиметрии, от глубины к поверхности и ко всеобщей плоскости, которая является истинной основой коммунизма.

Идет вечная борьба между этими двумя возможностями: углублением и нивелированием. Плоские борются против глубоких, чтобы их истребить или сделать себе подобными. В этой борьбе на стороне плоских большие преимущества, ибо глубокие могут только медленно передвигаться, преодолевая разнообразные препятствия; глубокие поднимаются на вершины и падают в пропасти, но плоские маневрируют с поразительной легкостью, не встречая никаких препятствий на своем пути; они скользят по гладкой поверхности или ползут, подобно распластанному насекомому, они всюду проникают и проходят в любые щели. Слишком часто, увы, у глубоких бывают разногласия: ведь они не равны между собой и глубоко индивидуальны, они стремятся к свободе, между тем как плоские всегда едины в своей стадности в силу безличия и стремления к абсолютному равенству. Глубокие страдают и душевно, и физически, но плоские испытывают лишь телесные страдания, ибо им не дано постичь глубин души.

Главным преимуществом плоских над глубокими является ложь. Гладкая поверхность иногда представляется нам глубокой только потому, что она отражает глубину. Плоские пользуются этим оптическим обманом, чтобы в своих плоских зеркалах отражать неведомые им глубины искусства, науки, философии и даже религии.

Вечная борьба между плоскими и глубокими, казалось, уже закончена в России. В этой стране большевикам удалось основать первое царство плоских. Захватив власть, они с самого начала стремились все разрыть и снести до основания.

...мы разрушим

до основанья, а затем

Мы свой, мы новый мир построим...

Затем большевики принялись за строительство, так как дьявольским наваждением плоские могут не только уничтожать, но и строить, но строят они только с помощью своих обманчивых зеркал. Ведь строить большевики могут только в двух измерениях, не зная ни глубины, ни высоты.

Большевики начали строить. Им удалось создать какой-то призрак государства, который в действительности является только молотом, чтобы раздробить все на свете и свести, таким образом, к двум измерениям. Этим гигантским молотом движет страшная сила – стремление ко всеобщему обезличению политическому и общественному, к абсолютному равенству, ко сведению всего в одну плоскость.

Этот молот, который большевики называют государством, является их первым творением, а вторым были те обманчивые, адские зеркала, в которых как будто отражается небо. Эти зеркала ослепляют людей своими отраженными лучами и увлекают их под удары страшного молота. Никогда еще подобная ложь не принималась за правду, подобное зло за благо, подобный ад за рай.

Неисчислимы последствия имело бы для всего человечества длительное существование в России царства плоских, так как Россия для них только исходная позиция для достижения конечной цели – завоевания всего мира.

Разве они не пытались, где только было возможно, разжечь гражданскую войну, чтобы добиться всеобщего рабства. Это испытала на себе Испания. Таким образом, по опыту гражданской войны в Испании и, особенно, в России можно себе представить, к чему привела бы мировая гражданская война. Гражданская война отличается от международной, как жар накалившегося добела железа от жара горящего дерева. В гражданской войне человек превращается в дьявола. Величайшей скорбью русских эмигрантов является сотрудничество их родных и просто соотечественников с убийцами России. В них вызывает горечь та легкость, с которой русский народ отрекся от своего тысячелетнего прошлого и обрек на кощунственное издевательство свою православную веру. Почему же русский народ оказался внезапно самым «безбожным»?

Достоевский в своем романе «Бесы» еще за сорок лет до революции предсказал это с такой точностью, что изображение им будущей русской революции является чудом, которое можно уподобить портрету, нарисованному художником, не выдавшим оригинала. Достоевский первый понял тайные силы Зла. Естественное стремление к свободе и строительству новой жизни превратилось у русского народа, угнетенного большевизмом, бесом плоскости, бесом двух измерений и бесом лжи в стремлении к самоубийству.

Что такое эта одержимость? С точки зрения медицины это просто душевная болезнь, но с точки зрения веры это более глубокое явление – это воплощение абсолютного Зла в человеческой личности, не только в его духе, но и во плоти. Бесноватый как бы раздваивается, в нем борются две враждебные силы. «Во мне боролись две воли, которые разрывали мою душу», – говорит блаженный Августин. В письме, написанном накануне своей кончины какой-то неизвестной, Достоевский писал: «Раздвоение является общим явлением человеческой природы. Я тысячу раз удивлялся способности человека и особенно русского носить в своей душе высший идеал и в то же время величайшую подлость». Когда Зло воплощается в человеческой душе и вынуждает ее действовать согласно своей воле, человек превращается в настоящего «одержимого». Тихая болезнь может захватывать не только отдельных лиц, но и целые народы: этому мы видим яркие примеры:

Революционный держите шаг...

...Товарищ, винтовку держи, не трусь.

Пальнем-ка пулей в святую Русь...

...Мировой пожар раздуем,

Мировой пожар в крови...

Так пел в своей поэме «Двенадцать» великий поэт Александр Блок, запевая гимн большевистской революции. Но кто ведет этих двенадцать новоявленных апостолов? Увы!

Перед нами... невидим

Тихой поступью надвьюжной

Впереди Иисус Христос...

Когда поэт понял, что это был не Христос, а что его гимн оказался посвящен «двойнику» Христа, то его охватил ужас: «Что за чудовище воплотилось во мне?» Поэт умер, потеряв рассудок...

Можно ли назвать одержимым в наши дни тот европейский народ, который в своем тщеславии больше всех других гордился своим христианским поведением, благочестивым соблюдением воскресения и чтением Библии, раз он теперь внезапно, на наших глазах, кинулся в объятья большевиков, прижимает их к своей груди, пресмыкается перед ними и устами своих епископов заявляет, что большевизм надо считать глубоко христианским явлением? Нет, ни правительство, ни народ этой страны не одержимы, ибо их поступки и их слова только ложь, продиктованная страхом и надеждой на помощь большевиков. Но эта бесполезная ложь может им дорого обойтись. Скорее, здесь дело идет о расслаблении их рассудка или об их «нравственном помешательстве».

Только теперь, отдавая себе, отчет об угрожающей Европе опасности большевизма, которая, впрочем, грозит не одной Европе, мы можем оценить по достоинству величие героического подвига, взятого на себя Германией в Святом Крестовом походе против большевизма. К этому походу присоединились и другие народы Европы. Вот почему теперь, когда зашатались стены этой проклятой Бастилии под страшными ударами германского оружия, русские эмигранты со всеми глубоко сознательными людьми всех народов чувствуют, что в них загорается пламенная надежда:

Она не погибнет – знайте!  
Она не погибнет, Россия,  
Они всколосятся – верьте!  
Поля ее золотые!  
И мы не погибнем – верьте.  
Но что нам наше спасенье?  
Россия спасется – знайте!  
И близко ее воскресенье!  
ТАЙНА РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ Опыт социальной демонологии[40]

Das dreimal gluhende Licht.  
Goethe. Faust[41]  
ГЛАВА 1

«Будет или не будет война?» – думает Европа сейчас (в летние месяцы 1939 года), как тяжелобольной думает: «Выживу или умру?» или как человек, проснувшийся ночью от землетрясения, думает: «Рухнут ли стены дома или выдержат?»

«„Гляньте, гляньте, земля провалилась!“ – „Как провалилась?“ Точно, прежде перед домом была равнина, а теперь он стоит на вершине страшной горы. Небосклон упал, ушел вниз, а от самого дома спускается почти отвесная, точно разрытая, черная кручь» (Тургенев. Конец света).

Бывшая Россия – большая часть Европы, шестая часть земной суши, – провалилась, а строители европейского дома двадцать лет искали и доныне ищут мира – устойчивого равновесия над пропастью.

Можно ли писать книги на землетрясении? Если можно, то разве таким людям, как русские изгнанники. Чудом спасшиеся от великого русского землетрясения, носятся они над землею Европы, тоже нетвердой, и будут носиться, как бестелесные духи, потому что родная земля для человека есть второе тело; жить в изгнании – все равно что выйти из этого тела – умереть заживо. Знают русские изгнанники то, чего в Европе никто еще не знает или не хочет знать, – что вопрос, погибнет ли Европа в войне или спасется в мире, – будет решен вместе с вопросом, погибнет или спасется Россия; знают, что победа коммунизма в России есть продолжающаяся первая Великая война и готовящаяся вторая – мост между ними – и что вот уже двадцать лет, как Европа только и делает, что переходит по этому мосту от первой войны ко второй; что вот уже двадцать лет, как видимый мир есть невидимая война по слову пророка: «Господь излил на них ярость гнева Своего и лютость войны; пламенем окружала их война со всех сторон, но они не замечали ее; и горела у них, но они не разумели этого сердцем» (Ис. 42, 25).

Только русские изгнанники поняли, что вторая Великая война может быть концом Атлантиды-Европы.

«В мире жить, никогда не подымать друг на друга оружия был главный и святейший закон, самим Богом начертанный в сердце Атлантов», – сообщает Платон незапамятно-древний миф или мистерию, предание или воспоминание,

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
дошедшее от первого, погибшего человечества до второго, нашего. Солнце вечного мира озаряло «Остров Блаженных», Атлантиду – рай на земле, потому что вечный мир есть рай; не было иного рая и не будет. Миром начали Атланты – кончили войной и гибелью. «В один злой день, в одну злую ночь... остров Атлантиды, погрузившись в море, исчез». «Если не покаетесь, все так же погибнете» (Лк. 13, 3). Что это значит, поняли как следует только русские изгнанники, – поняли и хотели сказать, но не могли, потому что говорить можно словами слышащим и даже глухим – знаками, но тем, кто не хочет слышать, нельзя ничего сказать; а все-таки надо говорить до конца, до той последней минуты перед гибелью, когда еще можно спастись.

Эта книга, писанная в дни землетрясения, так что писавший не знал, кончит ли писать или не кончит, есть не что иное, как тщетная – или не тщетная (этого нельзя сказать до конца) – попытка сказать хуже чем глухим, – не желающим слышать – необходимейшее для них, остерегающее слово о грозящей Атлантиде-Европе гибели и о последнем, возможном для нее спасении.

## ГЛАВА 2

«С русской революцией, рано или поздно, придется столкнуться Европе, – не тому или другому европейскому народу, а именно Европе как целому... С пристальным и тревожным вниманием следит она за русской революцией, но, может быть, недостаточно все-таки тревожным и пристальным, потому что происходящее в России страшнее, чем кажется Европе. Россия горит – в этом нет сомнения; но что Россия одна будет гореть и Европы не подожжет, так же ли это несомненно? Все внешние события русского переворота до мельчайших подробностей известны Европе, но глубокий, внутренний смысл их от нее ускользает. Движущееся тело русской революции видит Европа, но движущей души ее не видит: эта душа остается для нее вечною загадкой... Русская революция есть не только политика, но и религия (точнее, антирелигия), – вот что всего труднее понять Европе, для которой и сама религия давно уже политика. Европейцы судят по себе: им кажется, что Россия переживает естественную болезнь политического роста, которую в свое время переживали все европейские народы; пусть же перебесится – все равно выше головы своей не прыгнет, кончит тем же, чем другие народы кончали: остепенится, взнуздается парламентарским намордником и удовольствуется буржуазно-демократической лавочкой. Может быть, и было бы так, если бы русские люди не были „европейцами наизнанку“; если бы не воля ко всему крайнему, безмерному, заставляющая русских людей разбивать голову об стену... Для того чтобы тысячелетняя громада русской государственности окончательно рухнула, нужно такое землетрясение, что все ветхие демократические лавочки попадают, как картонные домики, – ни на одной из них русская революция не остановится. Но тогда на чем же и что же далее? Прыжок в неизвестное, лежащее за пределами исторического опыта... возможный и для равновесия всего земного шара опасный провал шестой части земной суши – бывшей России... Когда Европа это поймет, то бросится тушить русский пожар, но, может быть, не потушит его, а сама зажжется».

Это было сказано больше чем тридцать лет назад, почти тотчас после первой, неудавшейся революции 1905 года, и повторено почти тотчас после второй революции 1917 года, увы, слишком удавшейся, и тогда же прибавлено: «Чем вы, европейцы, спокойнее, тем страшнее нам, русским. Когда мы с вами говорим, то все слова, как в подушку... Русский коммунизм – труп войны; всемирной была война, и труп ее всемирно... Страшный опыт русских людей – их сила, потому что их зрелость, а европейцы – все еще дети: глядя на чужую смерть, думают: „Умрут все, только не я“».

И вот это снова сейчас говорится еще безнадежнее, чем тридцать и двадцать лет назад, – еще более «в подушку», с еще большею уверенностью, что это почти никем в Европе не будет услышано (все-таки – почти никем, и потому надо это говорить, хотя бы и почти безнадежно).

Да, тридцать лет опыта ни к чему не послужили Европе в понимании русской революции. Все еще огромному большинству европейцев кажется, что русский коммунизм – болезнь, для них не опасная: что-то вроде чумы на рогатый скот, не прилипчивой к людям. Все эти тридцать лет русского пожара никто не гасил; все только и делали, что подкидывали в него все новых горючих и даже взрывчатых веществ.

Все еще почти никто в Европе не видит, что русская беда есть часть беды всемирной. А между тем в России еще задолго до революции была предсказана,

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
точно глазами увидена, в ее лице эта черта всемирности. Но чтобы понять как следует смысл этих предсказаний, надо поставить общий вопрос: как относится что-то, может быть, низшее в них, или то, что людям кажется таким в животном инстинкте (крысы бегут с тонущего корабля, ласточки летят на старые гнезда за тысячи верст, муравьи строят кочки на речных берегах выше черты половодья), – как относится это низшее к тому, что бесчисленный религиозный опыт веков и народов чувствует как данную человеку возможность «прорицания», «пророчества»? Эта возможность, если бы она существовала действительно, напоминала бы несомненные, хотя и мало еще наукой исследованные явления «телепатии», «чувства на расстоянии», а также учение Платона о том вещем «знании-воспоминании», ??????????, в котором человеческая память как бы в противоестественном вывихе обращается не назад, а вперед, и человек вспоминает будущее как бывшее.

Отверзлись вещи зеницы,  
Как у испуганной орлицы, –  
и человек заглядывает ими на одно мгновение туда, где спят, с никогда не виданными и все-таки вечно знакомыми лицами, еще не воплощенные тени будущих событий.

Кажется, нечто подобное происходит и в русских предсказаниях революции. В мертвом сне и затишье того, что на политическом языке тех дней называлось «реакцией», вспыхивают в этих предсказаниях как бы ночные зарницы далекой грозы:

Ночное небо так угрюмо  
Заволокло со всех сторон;  
То не угроза и не дума,  
То вялый, безотрадный сон.  
Одни зарницы огневые,  
Воспламеняясь чередой,  
Как демоны глухонемые,  
Ведут беседу меж собой.  
ГЛАВА 3

Если бы Достоевский дожил до Октябрьской революции, то с каким жутким удивлением вспомнил бы это сделанное им в шутку предсказание: «Когда это могло бы произойти?» – спрашивает в «Бесах» Кармазинов Петра Верховенского о готовящейся революции, и тот, издеваясь над этой «крысой, готовой бежать с корабля», отвечает: «К началу будущего мая начнется, а к Покрову все кончится».

«К Покрову» – к Октябрю. Это предсказание, сделанное за пятьдесят лет до Октябрьского переворота (1870–1917), так удивительно, что, читая, глазам не веришь, пока не сообразишь, что совпадение сроков, может быть, случайно. Но еще удивительнее сделанное в тех же «Бесах» с такую же точностью и, уж конечно, не случайно совпавшее с исторической действительностью предсказание, что русская революция кончится новым, абсолютнейшим, никогда еще в истории не виданным самодержавием мифологического «Ивана Царевича» – исторического «чудесного грузина», Сталина.

И по мере того как эти для нас теперь пока еще не совсем, а только отчасти исполнившиеся предсказания умножаются, жуткое удивление растет.

«Если бы я вам рассказал то, что я знаю... тогда бы помутились ваши мысли, и вы... подумали бы, как убежать из России. Но куда бежать?... Европе пришлось еще труднее, нежели России. Разница в том, что там этого никто еще... не видит», – пишет Гоголь в середине прошлого века в частном письме, озаглавленном «Страхи и ужасы России»; он мог бы озаглавить его и «Страхи и ужасы Европы», потому что уже знает – «чувствует на расстоянии» то, чего и сейчас в Европе никто не знает и не чувствует: как нерасторжимо связана участь ее с участью России именно в этих наступающих для них обеих одинаково «страхах и ужасах». «Соотечественники, страшно! – говорит Гоголь в своем „Завещании“ России. – Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли... не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся». Кажется, Гоголь умирает от ужаса, заглянув слишком близко в лицо самого страшного из этих «страшилищ» – русской революции.

«Убежать из России» – в этих трех словах Гоголя уже зачаточная клеточка будущего великого тела – России в изгнании.

«Многое впереди загадка, и до того, что даже страшно и ждуть... наших детей... ожидает что-то ужасное», – отвечает Достоевский Гоголю, как одна ночная зарница – другой в той зловещей беседе «глухонемых демонов». «Весь петербургский период русской истории вот-вот подымется вместе с петербургским туманом и разлетится, как сон». – «Вся Россия стоит на какой-то окончатальной точке, колеблясь над бездной», – пишет Достоевский в одном из своих предсмертных писем. Ту же «бездну» уже и Пушкин предчувствовал, когда спрашивал Медного всадника, Петра Великого, творца новой России:

О, мощный властелин судьбы,  
Не так ли ты уздой железной  
На высоте, над самой бездной,  
Россию вздернул на дыбы?

«Петербургу быть пусто!» – сказано было во дни первой революции 1905 года – и это исполнилось с ужасающей точностью во второй революции 1917 года: Петербург не только опустел, но и как бы исчез с лица земли, потеряв даже имя свое и сделавшись сначала гнусным военным «Петроградом», а затем – еще гнуснейшим революционным «Ленинградом». Тот же автор, в том же 1905 году, вспомнил свой зловещий сон: «Черный облик далекого города на темном небе – груды зданий, башни, купола церквей, фабричные трубы; вдруг по этой черноте забегали огни, как искры по куску обугленной бумаги. И понял я или кто-то мне сказал, что это взрыв исполинского подкопа; я ждал и знал, что еще миг – и весь город взлетит на воздух, и черное небо обагрится исполинским заревом». Исполнился и этот сон с такою же ужасающей точностью не только для Петербурга, но и для всей России.

Мы – дети страшных лет России –  
Забывать не в силах ничего.

Испепеляющие годы!

Безумья ль в вас, надежды ль весть?

От дней войны, от дней свободы –

Кровавый отсвет в липах есть, –

скажет Александр Блок, будущий автор «Двенадцати», в 1914 году, в огне Великой войны, уже заглядывая в лицо еще не рожденному от нее «страшилищу» – русской революции.

#### ГЛАВА 4

Самым нужным для европейцев в этих русских предсказаниях, если бы они могли их понять, как следует, было бы именно то, что русская беда в них чувствуется как часть беды всемирной, и предсказывается, что от возможного спасения или гибели России зависит и участь Европы: «Европе пришлось еще труднее, нежели России», – говорит Гоголь, и опять, как одна ночная зарница другой, отвечает ему Достоевский: «Видно, подошли сроки уже чему-то вековечному... что подготавливалось в мире с самого начала его цивилизации». – «Ваша Европа накануне падения, повсеместного, общего и ужасного... Пролетарии бросятся на нее... и все старое рухнет навеки... Останутся только дикие, которые проглотят Европу. Из них подготавливается исподволь, но твердо и неуклонно, будущая бесчувственная мразь». В Европе «все подкопано и начинено порохом и ждет только первой искры». Об этой же «искре» говорит и Л. Толстой в «Царстве Божиим», по поводу того «пожара», который может истребить всю европейскую цивилизацию: «Загорания еще редки, но загораются они огнем, который, начавшись с искры, не остановится... пока не сожжет всего». Как запоят «Двенадцать» Александра Блока:

Мы на горе всем буржуям

мировой пожар раздуем!

И, наконец, самое непонятное не только европейцам, но и русским людям (может быть, впрочем, русским коммунистам уже понятное) предсказание Достоевского: «Будущность Европы принадлежит России».

Кажущиеся ошибки в этих русских предчувствиях зависят от того, что их сами предчувствующие неверно толкуют, располагая верно угаданные будущие события в ложной перспективе времени. «Чувством на расстоянии», телепатией, или «животным инстинктом», или платоновским «знанием-вспоминанием» будущего, или зрением тех чудовищно-чудесно открывшихся «вещих зениц», может быть, верно увидено лицо еще не воплощенной тени будущего события, но когда в истолковании оно переносится оттуда, где нет еще времени, туда, где оно уже есть, то делается ошибка в перспективе. Как издали на горы смотрящему

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
путнику не видны пропасти, отделяющие одну горную цепь от другой, – так русским предсказателям иногда не видно то, что отделяет бывшую Россию от будущей.

«Только один колосс останется на континенте Европы – Россия». – «Запад исчезает, все рушится... И когда над этим громадным крушением мы видим всплывающую святым ковчегом Россию, еще более громадную, то кто дерзнет сомневаться в ее призвании?». Глядя сейчас на Россию, Запад мог посмеяться над этими пророчествами Достоевского и самого вещего из русских поэтов, Тютчева («Россия и революция»). Но если русский революционный поток вместе со второй всемирной войной дойдет, схлынув с России, до Запада, то эти «смешные» пророчества страшно исполнятся, и тогда европейцы поймут, что значит: «Будущность Европы принадлежит России».

Когда русские люди слишком настаивают на том, что участь Европы зависит от участи России, то европейцам может казаться, что бедные родственники лезут к богатым или даже чумные – к здоровым. Но это было бы вовсе не так, если бы бедные должны были получить большое наследство или спасшиеся от чумы знали лучше здоровых, как от нее спастись.

## ГЛАВА 5

Меньше всего можно заподозрить Герцена в нелюбви к Европе: ведь это именно один из тех русских людей, у которых, по слову Достоевского, «две родины – наша Русь и Европа». Кажется иногда, что Герцен сам не знает, кого любит больше, Россию или Европу. Вечным изгнанником сделался он ради Европы; для нее жил и готов был умереть за нее. В минуты уныния и разочарования он жалел, что не взял ружья, которое предлагал ему один французский рабочий во дни революции 1848 года в Париже, и не умер на баррикадах. Если такой человек усомнился в Европе, то не потому, что мало, а потому, что слишком верил в нее; и когда он произносит свой приговор: «Я вижу неминуемую гибель старой Европы и не жалею ничего из существующего», то этот приговор можно не принять, но нельзя не почувствовать, что в устах Герцена он имеет страшный вес.

Гибель, грозящая Европе, думает Герцен, – медленное окаменение, омертвление «второго Китая в духовном мещанстве той сплоченной посредственности, conglomerated mediocrity, по слову Дж. Ст. Милля, – подавляющих масс какой-то паусной икры, сжатой из мириад мещанской мелкоты» («будущая бесчувственная мразь» в предсказании Достоевского). «Посмотрите кругом, – что в состоянии поднять народы?.. Христианство обмелело и успокоилось в покойной и каменистой гавани реформации; обмелела и революция в покойной и песчаной гавани либерализма... Если в Европе не произойдет какой-нибудь неожиданный переворот, который возродит человеческую личность и даст ей силу победить мещанство, то... Европа сделается Китаем». – «Подумай, – заключает Герцен письмо неизвестному русскому, – кажется, всему русскому народу, – подумай, и у тебя волос станет дыбом».

Так же, как Достоевский и Тютчев ошибались во времени, Герцен ошибается в месте, перенося верно угаданное будущее оттуда, где еще нет пространства, туда, где оно уже есть. Медленное, после внезапного переворота, окаменение, омертвление Китая началось не в Европе, а в бывшей России под властью коммунистов; здесь же, в России, образовались и «подавляющие массы какой-то паусной икры, сжатой из мириад мещанской мелкоты». Но Герцен все-таки прав: «если какой-то неожиданный духовный переворот» не совершится в Европе, то и ей грозит участь России.

«Да здравствует разрушение и хаос! Да здравствует смерть!» – восклицает в отчаянии Герцен, обращаясь ко всей старой Европе, после февральской революции 1848 года.

«Хочется мне отличиться на чем-нибудь, – говорит один из босяков Горького. – Раздробить бы всю землю в пыль или собрать шайку товарищей. Или вообще что-нибудь этакое, чтобы стать выше всех людей и плюнуть на них с высоты... Я себя проявлю! Как? это одному дьяволу известно...».

«Пусть все скачет к черту на кулички, – говорит другой босяк. – Мне было бы приятно, если бы земля вдруг вспыхнула или разорвалась бы вдребезги... лишь бы я погиб последний, посмотрев сначала на других!»

Здесь, у Горького, становится надеждою то, что у Герцена было отчаянием:

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
«Да здравствует разрушение и хаос!» Это уже не предчувствие русской революции, а она сама.

Все это значит в последнем выводе, что духовный кризис, переживаемый Россией, есть не что иное, как следствие такого же кризиса, переживаемого всем бывшим христианским человечеством. Даром не прошло ему христианство, с Богом или против Бога, человек наших дней всемирнен; из христианства, всемирной религии, выпадает он в антихристианство, антирелигию, тоже всемирную. Не здесь или там, а везде, во всем мире, происходит одно и то же: религиозная атмосфера так разрежена, что нечем дышать. Кто-то делает страшный опыт с человечеством: посадил его, как кролика, под стеклянный колпак и выкачал воздух.

Эту общность русского духовного кризиса с европейским лучше всего понял великий русский религиозный мыслитель Розанов в своем предсмертном дневнике – «Апокалипсисе нашего времени»: «Глубокий фундамент всего теперь происходящего заключается в том, что в европейском (всем, и в том числе русском) человечестве образовались колоссальные пустоты от бывшего христианства, и в эти пустоты проваливаются все: троны, классы, сословия, труд, богатства. Все потрясено, все потрясены. Все гибнут, все гибнет... все это проваливается в пустоту души, которая лишилась древнего (религиозного) содержания».

## ГЛАВА 6

Все в Европе «обмелело», по вещему слову Герцена. Как образуется мель? Так, что дно когда-то глубоких вод, заносимое илом и песком, подымается к водной поверхности – плоскости. Это «обмеление»-оплощение происходит на европейском Западе медленно, а на русском Востоке произошло внезапно, как будто все глубокие воды русского духа сразу ушли, как это бывает в землетрясениях, в какую-то вдруг бездумно зазиявшую под ними щель. Это обмеление духа во всем некогда глубоком христианском человечестве можно бы выразить такой геометрической формулой: от трех измерений – к двум, от стереометрии – к планиметрии, от глубины – к плоскости.

Лица всех ближайших к человеку животных опущены к земле – к плоскости; только лицо человека поднято к небу – самому глубокому и высокому, что видно с земли.

*Os homini sublime dedit coelumque tueri.*

Поднял Бог лицо человека, чтобы видел он небо.

Только тогда человек стал человеком, когда увидел над собою небо – одну глубину бесконечную, а в себе – другую, еще большую, – другое небо, – путь от себя к Богу. Чем ближе к Богу человек, тем глубже; чем дальше от Него, тем плоче. Эти два возможных движения, две воли – к углублению и обмелению, оплощению, – в человеке всегда борются, потому что человек есть неустойчивое равновесие между небом и землей, глубиной и плоскостью. Тайна глубин влечет его к себе, но и страшит, потому что самое глубокое – тот мир – самое для человека неизвестное. Перейти из этого мира в тот значит умереть, а что такое смерть – начало ли чего-то нового или конец всего, – человек не знает и страшится и, страхом гонимый, возвращается от того мира, может быть, лучшего, но неизвестного, к этому, может быть, худшему, но известному, – от глубины к плоскости, от себя, несчастного, потому что знающего смерть, к счастливому, потому что смерти не знающему, животному.

Вечная борьба этих двух возможностей – углубления и оплощения – происходит во всех настоящих людях, существах изначально и онтологически трехмерных. Но, кроме настоящих людей, есть и мнимые – только по наружности люди, а на самом деле существа метафизически иного порядка, хотя физически от людей не отличимые, – «человекообразные». В этих существах никакой борьбы глубокого с плоским не происходит, потому что они изначально и совершенно плоски. Страшную для человека тайну их разоблачает евангельская притча о пшенице и плевелах: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы... Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. Поле есть мир, доброе семя – это сыны Царствия (Божия), а плевелы – сыны диавола» (Мт. 13, 24–25, 37–38).

Это и значит: между настоящими людьми, «сынами Божиими – пшеницей», есть мнимые люди, «сыны диавола», «плевелы»; между существами, изначально и онтологически трехмерными, глубокими, есть существа, так же



Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
изначально-онтологически двухмерные, плоские.

«Ваш отец – диавол... Он был человекоубийца от начала... лжец и отец лжи», – говорит Иисус (Ио. 8, 44) книжникам и фарисеям, лицемерам, – ядовитейшим «плевелам».

Плоские всегда боролись с Глубокими, чтобы сделать их подобными себе или истребить; гнали и мучили святых, побивали камнями пророков, напоили Сократа цикутой, а Сына Божия распяли и думали, что победили окончательно; но ошиблись: сами были побеждены, когда Распятый воскрес. Но и Глубокие ошиблись, думая, что после Голгофы враг уничтожен и кончилась борьба: не только не кончилась, но усилилась так, как еще никогда. Все христианство есть не что иное, как та последняя, судьбы человечества решающая борьба Глубоких с Плоскими, которой суждено длиться до конца мира, до Царствия Божия на земле, как на небе.

Плоские имеют большие преимущества в этой борьбе. Медленно и трудно движутся Глубокие, потому что преодолевают множество преград – восходят на горы, нисходят в пропасти, где тысячи раз могут сломать себе кости; а Плоские движутся быстро и легко, не встречая на своем пути никаких преград, скользя по гладким поверхностям или ползая по ним как совершенно плоские насекомые. Всюду проникают, проходят сквозь все: щели между двух атомов достаточно для них, чтобы пройти сквозь нее. Слишком часто Глубокие разъединены, потому что различны и хотят свободы, а Плоские всегда слиты в одно, потому что безличны и хотят равенства. Телом и душой страдают Глубокие, а Плоские – только телом, потому что душа – невозможная для них глубина. Смерти страшатся Глубокие, а Плоские бесстрашны к ней, потому что и в самой жизни мертвы, так что и умирать нечему в них.

Главное же преимущество Плоских перед Глубокими – ложь, потому что отец их, диавол, есть «отец лжи». Плоскость может быть зеркальной и, отражая глубину, казаться глубокой. Этим-то обманом зрения и пользуются Плоские, отражая в зеркалах своих все глубины человеческого творчества – искусства, науки, философии и даже религии. Царство Плоских – ад на земле, но и в аду зеркала их отражают небо – рай, и устроители ада, совершенно плоские насекомые, подобные клопам или мокрицам, кажутся восставшими на богов титанами или падшими Ангелами, Люциферами. И этою ложью зеркал люди ослеплены и обмануты так, что ложь им кажется истиной, а истина – ложью, зло – добром, а добро – злом, диавол – Богом, а Бог – диаволом. И смешивается все в безумии, подобном хаосу. И в самом христианстве происходит «обмеление» глубоких вод, «оплощение», которое уже Данте предсказывал как «великий отказ», отступление от Христа, *il gran rifiuto*.

Если бы религия была физическим светом, то обитатели других планет могли бы видеть, как земля светилась с четвертичной эпохи (потому что люди уже и тогда совершали похоронные тризны и, следовательно, имели начатки религии), – светилась земля и вдруг потухла. Но для земного наблюдателя – не вдруг, а постепенно и медленно, и только за последние пять-шесть веков – от Возрождения до Реформации, от Реформации до Революции, от Революции до наших дней – с возрастающей скоростью. Это те именно века «прогресса» – победоносного шествия Плоских, которыми люди наших дней особенно гордятся. Быстро двигалось человечество по пути «прогресса» – летело, как брошенный камень, и вот куда залетело – на край гибели.

## ГЛАВА 7

Вечная борьба Плоских с Глубокими все еще продолжается на европейском Западе, а на русском Востоке борьба уже кончилась или происходит сейчас на такой глубине, что ее уже не видно сейчас с европейского Запада. В бывшей России, на шестой части земной суши, основано русскими коммунистами первое на земле Царство Плоских. Овладев Россией, они сначала разрушили в ней все, сровняли с землей, как поется в Интернационале:

Сделаем из прошлого гладкую доску,  
*du passe faisons table rase*, –  
сначала сровняли все до «гладкой доски», а потом начали строить, потому что Плоские могут каким-то дьявольским чудом не только разрушать, но и строить, конечно, мнимо, «зеркально-обманчиво», так как строить по-настоящему нельзя в двух измерениях – в плоскости, без глубин и высот. Русские коммунисты начали строить и построили то, что имеет лишь вид государства, а на самом деле есть исполинский плющильный молот, которым все в человеке трехмерное,

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
глубокое и высокое, уничтожается или вдавливаются, вплющиваются в совершенную плоскость. Страшная сила, движущая молот, есть душа всех социальных революций – воля как будто лишь к внешнему, социально-политическому, а на самом деле и к внутреннему, онтологическому равенству в плоскости.

Тысячной доли секунды достаточно, чтобы упавшая на человека огромная скала раздавила его, расплющила во что-то совершенно и невообразимо плоское. Если бы эту тысячную долю секунды мы могли бы растянуть в воображении на годы и годы, то поняли бы, хотя бы только отвлеченно-умственно, потому что жизненно-чувственно этого нельзя понять, не сделав опыта, – поняли бы, что испытывает человек, существо, в возможности равное Ангелам, как учит Писание («мера человека есть мера и Ангела» – Откр. 21, 17), когда, оставаясь опять каким-то дьявольским чудом жив под тем чудовищным плющильным молотом, он превращается из Ангела в совершенно плоское насекомое, подобное клопу или мокрице.

Первое сооружение русских коммунистов – этот плющильный молот под видом государства, а второе – установление в аду невидимых, отражающих небо зеркал, которые ослепляют людей и заманивают их издали под молот. Никогда еще такая ложь не казалась истиной, такое зло – добром и такой ад – раем.

Царство Плоских в России может иметь для всего человечества необозримые последствия, потому что Россия для них не цель, а только средство к цели – завоеванию мира.

«...Грезилось ему (Раскольникову), будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной мировой язвы, идущей из глубины Азии в Европу... Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселяющиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя такими умными и непоколебимыми в истине, как эти зараженные... Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшедствовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем одном заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, что считать злом, что добром. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии, уже в походе, вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололи и резали, кусали и ели друг друга... Все и всё погибало».

Этот бред сейчас, накануне второй Великой войны, становится все более похожим на действительность. Никогда еще человечество не было угрожаемо таким нашествием неземных существ. И хуже всего то, что этой опасности почти никто не видит и как спастись от нее, почти никто не думает.

## ГЛАВА 8

Самая терзающая мука русских изгнанников – даже не само убийство России, а то, что русский народ – пусть даже не весь, а только малая часть его (есть ли тут, впрочем, мера «большого» и «малого»?) – русский народ оказался сообщником убийц России; что с такою внезапную легкостью предал он свою тысячелетнюю святыню – христианство – и надругался над ней. Как могло случиться, что народ «Богоносец», по слову пророка своего, сделался безбожнейшим из всех народов? Как могло случиться, что тот народ, который сам себя назвал «крестьянским» (от слова Крест), потому что больше всех других народов жил или хотел жить под знаменем Креста, – наступил на крест? Как могло случиться, что народ, так мужественно побеждавший всех земных врагов своих, сделался такою легкой добычей неземного Врага?

Лучшие ответы на эти вопросы даны Достоевским в «Бесах». Тайна русской революции не только для европейцев, видевших ее извне, но и для большинства русских людей, переживших ее, – все еще семью замками замкнутая дверь. Достоевский в «Бесах» нашел к ней единственно верный ключ. За сорок лет до того как свершилась русская революция, он предсказал ее с такой точностью, что надо быть слепым, чтобы не увидеть и не услышать в этом пророчестве, в самом полном, чудесном, невозможном для не верующих в чудеса и все-таки действительном смысле этого слова. Если бы художник написал портрет с человека, которого никогда не видел, это было бы так же чудесно, как то, что сделал Достоевский, изобразив будущую русскую революцию.

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
«Бесами» Пушкина предсказаны «Бесы» Достоевского. В русской природе Пушкин увидел то же, что Достоевский – в русских людях. То же буйство разрушительных демонических сил – в русской метели и в русском мятеже, революции.

Бесконечны, безобразны,  
В мутной месяца игре  
Закружились бесы разны,  
Точно листья в ноябре.  
Сколько их! Куда их гонят?  
Что так жалобно поют?  
Домового ли хоронят,  
Ведьму ль замуж выдают?  
В русской физике – равнина, а в русской метафизике – равенство. Плоская земля России, а над нею – снежная буря; плоская душа революции, а над нею – буря «бесов».

Знал Достоевский, что делает, когда соединял в эпиграфе к своей пророческой книге пушкинские стихи о бесах с евангельским свидетельством о Гадаринском бесноватом. Достоевский первый понял, что неземные, из того мира в этот идущие силы зла – «Бесы» – могут овладевать не только отдельными людьми, но и целыми народами. Силы эти вошли в русский народ, и с ним произошло то же, что с Гадаринским бесноватым: «Многokrатно он был скован оковами и цепями; но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем... кричал он и бился о камни» (Мк. 5, 4–5).

Мнимая воля к освобождению, к новой жизни становится в беснующемся, революционном русском народе действительной волей к саморазрушению, к смерти.

Что такое «бесноватость»? «Просто душевная болезнь», – говорят ученые. Но чтобы понять, что такое «душевная болезнь», надо знать, что такое «душа», а этого никакие ученые не знают – не хотят или не могут знать, и, следовательно, это мнимое объяснение – только замена одного неизвестного другим.

Вера в бесов кажется людям наших дней нелепым суеверием варварских веков, уничтоженным наукой. Но вот Гете, великий ученый и человек, обладающий таким чувством действительности, как очень немногие люди, верит в «демоническое», не всегда совпадающее для него с «бесовским», но близкое к нему, – и даже больше, чем верит, – чувствует его в себе, в людях и в мире так же несомненно-осязательно, как рука чувствует в темноте невидимый предмет. Не надо, впрочем, верить в бесов – достаточно только искать ключа к замкнутой двери – к тайне русской революции, чтобы увидеть в демонологии Достоевского сквозь художественную символику метод познания, дающий возможность заглянуть в неземную природу совершающегося в русской революции изначального и бесконечного Зла – того самого, что религиозный опыт христианства чувствует как одержимость человека дьяволом.

## ГЛАВА 9

В самом начале 70-х годов прошлого века в каком-то русском губернском городе, патриархально-благополучном, тихом и сонном, маленькое тайное революционное Общество делает обреченный в исполнении на ничтожество, но великий и все решающий по замыслу опыт революции. Это – первая, черная на светлом небе точка налетающей бури, – может быть, одной из тех, что иногда предшествуют землетрясениям; или едва заметная на человеческом теле красная точка от укола иглой, омоченной в гное той «страшной мировой язвы», о которой грезится Достоевскому-Раскольникову в вещем бреду.

Одно из двух главных действующих лиц в этом революционном обществе – Петр Верховенский, списанный Достоевским с очень известного в истории русской революции деятеля, самого крайнего, отвлеченного и беспощадно-жестокого из русских террористов, Нечаева. «Я ведь мошенник, а не социалист», – определяет сам себя Верховенский, кажется, с излишней строгостью, потому что он на самом деле социалист и мошенник вместе, – может быть, уполномоченный от Интернационала, под видом агента русской тайной полиции. Но чтобы понять его как следует, надо увидеть не только внешнюю и временную, социально-политическую, но и внутреннюю, вечную, онтологическую связь его с такими будущими деятелями русской революции, как Ленин и Сталин: эти будут, потому что тот был; начал Верховенский-Нечаев –

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
продолжит Ленин, и кончит Сталин. Эти ничем не лучше и не хуже того; мерить надо всех прочих одною мерою и судить одним судом.

«Это клоп... не понимающий ничего в России», – определяет Верховенского бывший товарищ его по Тайному Обществу, раскаявшийся и перешедший в славянофильство революционер Шатов. «Ты передо мною настоящий подлец; все равно как поганая человеческая вошь – вот за кого я тебя почитаю», – говорит ему в лицо беглый каторжник Федька, вор и убийца, но все-таки чувствующий себя, может быть, не без основания, выше и чище Верховенского. «Клоп» и «вошь» – больше, чем только бранные слова; это – вполне точное выражение того, что чувствуют люди, существа трехмерные, возможно, глубокие и высокие, в Верховенском, существе, почти совершенно двухмерном, плоском, – почти, но не совсем. Он – «одержимый», «бесноватый», но еще не до конца: чтобы «бес» мог войти в человека, одно существо – в другое, и наполнить его окончательно, надо, чтобы наполняемое имело глубину. Такие деятели русской революции, как Ленин и Сталин, совершенно «бесноватые», будут плоче Верховенского.

«Вы его мало знаете, – говорит Шатову Николай Ставрогин, тоже бывший революционер, ушедший из революции, ненавидящий и презирающий Верховенского еще больше, чем Шатов. – Вы его мало знаете... Он – энтузиаст... Есть такая точка, где он перестает быть шутком и обращается в полупомешанного, – или в „бесноватого“».

«Новая религия идет» – скажет плоский и лживый Верховенский одно из самых глубоких и правдивых слов о русской революции. Новая «религия человечества» без Бога, против Бога. «Надо разрушить в человечестве идею о Боге, – вот с чего надо приняться за дело, – напоминает черт Ивану Карамазову его же собственные мысли. – Раз человечество поголовно отречется от Бога, то наступит все новое». – «Будет новый человек, счастливый и гордый... Тогда историю будут делить на две части: от гориллы до уничтожения Бога и от уничтожения Бога до перемены земли и человека физически. Будет Богом человек и переменится физически», – учит Кириллов, апостол и мученик этой новой религии, или точнее антирелигии, но все еще веры: «Я обязан уверовать, что не верую» (в Бога), – возвещает тот же Кириллов. «Знаете что? Вы, по-моему, веруете, пожалуй, даже больше попа», – обличает его Верховенский.

«Запирайте церкви, уничтожайте Бога... берите ножи», – в этих трех заповедях новой религии, возвещаемых в прокламациях, полученных из-за границы, от Интернационала, и раскидываемых по русским градам и весям, – уже вся движущая сила будущей русской, а может быть, и всемирной революции – воля к уничтожению Бога как исходная метафизическая точка физического действия: «берите ножи». «Богоубийство» – онтологическая посылка, а социологический вывод – человекоубийство. Крайняя в человеке «преступность есть потребность убивать Бога», – скажет Вейнинггер. Эта крайняя «преступность», по религиозному опыту Вейнингера, и есть не что иное, как «бесноватость», по религиозному опыту Достоевского.

## ГЛАВА 10

Петр Верховенский – одно из двух главных действующих лиц в Тайном Обществе, а другое – Николай Ставрогин, человек безграничной, но лишенной точки опоры для действия и потому самоё себя разрушающей духовной силы. «Я пробовал везде мою силу, – вспоминает он в предсмертном письме-исповеди. – Сила эта оказывалась беспредельной. Но к чему приложить ее, – вот чего я никогда не видел... Все слишком мелко во мне... Из меня вылилось одно отрицание... Даже отрицание не вылилось. Все и всегда мелко»... Кажется, недаром повторяет так упорно и безнадежно это слово «мелко», может быть, предчувствуя, что именно здесь что-то для него все решающее, главное. Страшная, губящая Ставрогина «мелкость-плоскость» всего и есть не что иное, как то «оплощение», «обмеление» глубоких вод, которое уже Герцен предчувствовал в западноевропейском человечестве: «...обмелело христианство – обмелела и революция».

«Я знаю, – продолжает Ставрогин в той же предсмертной исповеди, – я знаю, что мне надо бы убить себя, смести себя как подлое насекомое (совершенно плоское, подобное „клопу“ или „вше“, Петру Верховенскому). Но я боюсь самоубийства, потому что боюсь показать великодушие. Я знаю, что будет еще обман – (лживая, мнимая, в зеркальной плоскости отраженная глубина), – последний обман в бесконечном ряду обманов (отраженных, зеркальных глубин).

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Что же пользы себя обманывать, чтобы только сыграть в великодушие?»

Кажется, в этом страшном суде над собой, перед лицом смерти, Ставрогин ошибается, потому что таким глубоким и правдивым судом не мог бы судить себя человек совершенно плоский и лживый. Это хорошо понял мудрый и почти святой человек, сосланный в захолустный монастырь и живущий там «на покое», потому что заподозренный в «ереси» и гонимый архиереем Тихон, – может быть, единственный в мире человек, который до конца понял Ставрогина и мог бы его спасти.

«Вы почувствовали всю глубину (наполняющих мир ужасов)... Вам неверие Бог простит, ибо, поистине, Духа Святого чтите, не зная Его».

Кто такой Ставрогин для Тихона? Человек, предназначенный для великого добра и делающий великое зло; призванный других спасать и губивший себя и других; возможное орудие Духа Святого, сделавшееся орудием Духа нечистого.

Главное преступление Ставрогина, как ему самому кажется, – растление двенадцатилетней девочки, которая через несколько дней, почти на глазах у него, повесилась, чего он как будто ждал и хотел, – это преступление – только образ того, что он сам с душой своею сделал. Тихон и это понял, а если бы понял и Ставрогин, то был бы спасен; но не может понять, потому что так долго и часто обманывал себя мнимой глубиной, отраженной в зеркальной плоскости, что не умеет уже отличить действительной глубины своей от мнимой.

«Мелко», «плоско» в нем все, оттого ему скучно. Радостно, весело человеку от глубин и высот, потому что только для них он и создан; скучно – от плоскости.

«Мне скучно, бес!» – говорит пушкинский Фауст Мефистофелю, как будто веселому бесу, а на самом деле такому же скучному, как сам великий Сатана, Царь Скуки.

«Что делать, Фауст?» – отвечает ему Мефистофель.

Таков вам положен предел,  
Его ж никто не преступает.  
Вся тварь разумная скучает...

И всяк зевает да живет –  
И всех вас гроб, зевая, ждет.

Скука зевающая – зияющий ад, где, может быть, самое страшное – не громкие вопли отчаяния, а тихая зевота скуки. Кажется, Ставрогин еще здесь, на земле, испытывает эту неземную скуку ада. «Я до того скучал, что мог бы повеситься, – вспоминает он в исповеди своей, не сказанной – духу не имел бы это сказать, – а писанной и отданной на прочтение Тихону. – Помню, что я очень тогда (после растления девочки) занимался богословием... Это несколько развлекло меня, но потом стало еще скучнее. Гражданские же чувства мои состояли в том, чтобы подложить под все четыре угла пороху и взорвать все разом, если бы только того стоило. Впрочем, без всякой злобы, потому что мне было только скучно и более ничего».

Те, кто пережил в России первые дни после Октября, помнят, как тогда было скучно какой-то небывалой, неземно, как бы из того мира в этот идущую скукою. Вечность кажется Свидригайлову чем-то вроде «закоптелой деревенской бани с пауками по всем углам». Точно такая же вечность наступила тогда в России. Может быть, впрочем, не только в России, тогда, но и в Европе, сейчас: в эти страшные дни, накануне второй Великой войны, всего страшнее то, что людям уже не страшно, а скучно. Гоголь еще в середине XIX века предчувствовал эту находящую на все человечество мировую скуку: «И непонятную тоскою уже загорелась земля; черствее и черствее становится жизнь; все мельчает и мелеет, (те же слова, что у Герцена и Ставрогина) – и возрастает только в виду всех один исполинский образ скуки, достигающий с каждым днем неизмеримейшего роста». Этот исполинский образ, еще почти никем не узанный, – сам великий Сатана, Царь Скуки. Он-то и воплотился в таких возлюбленных детях своих, как Ленин и Сталин. Этим уже не будет скучно, потому что сами они – воплощенная скука, и от них она идет на всех.

Как бы ни было Ставрогину в революции скучно и как бы он от нее не отрешивался, Верховенский надеется сделать его вождем русской, а может быть, и всемирной революции. «Он задался мыслью, что я мог бы сыграть для

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
них (членов Тайного Общества) роль Стеньки Разина, „по необыкновенной способности к преступлению“», – говорит Ставрогин Шатову. Точка, где Верховенский «перестает быть шутком и обращается в энтузиаста», есть его любовь, подобная влюбленности, к Ставрогину. Так, может быть, любит бес человека, в которого хочет войти.

«Ставрогин, вы красавец! – шепчет Верховенский почти в упоении любви. – Вы мой идол... Вы именно такой, какой надо... Нет на земле иного, как вы... Я никого, кроме вас, не знаю... Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк...»

«Он вдруг поцеловал у него руку. Холод прошел по спине Ставрогина, и он в испуге вырвал у него руку».

«Помешанный!» – прошептал он. «Помешанный» или «бесноватый».

«Да на что я вам, наконец, черт? Тайна, что ль, тут какая?» – спрашивает его Ставрогин в изумлении.

Тут, действительно, «тайна» – еще донине почти никем в Европе, ни даже в самой России, не разгаданная тайна русской революции.

## ГЛАВА 11

С какою точностью предсказана Достоевским в художественном вымысле «Бесов» историческая действительность, видно лучше всего по «Революционному Катехизису» Нечаева и Бакунина, появившемуся в 1869 году, – значит, в самый канун революционного опыта «Бесов». Все существующее, – учит Катехизис, – должно быть разрушено до основания, до той «плоской доски», *table rase*, о которой поется в Интернационале:

Плоскую доску сделаем из прошлого.  
«Новые формы жизни могут произойти только из совершенной аморфности»,  
безвидности – хаоса.

В том же году Бакунин в своих прокламациях к русской учащейся молодежи призывает ее «покинуть весь этот мир, осужденный на гибель», чтобы идти в народ и подымать его на бунт. Не признавая ничего, кроме разрушения, он оправдывает для него все средства: «...яд, нож, петля... все освящается революцией». Делается отсюда и последний вывод: «Разбой есть одна из почтеннейших форм русской народной жизни... Разбойники в лесах, в городах, в деревнях, заключенные в бесчисленных острогах империи, составляют один... нераздельный, крепко связанный мир социальной революции... Все, кто хочет ее, должны идти в этот разбойничий мир».

Герцен осуждает как «неистовую демагогию» эти призывы Бакунина и Нечаева «идти в какой-то бессмысленный бой разрушения»; но тут же признается: «Этому противостать я силы не имею». Силы не имеет потому, что, приняв логическую посылку Бакунина: «нет Бога», – вынужден сделать из нее и логический вывод: «нет ни добра, ни зла; все позволено». Это он и говорил почти словами Бакунина уже за двадцать лет до него, во дни февральской революции 1848 года: «Да здравствует разрушение и хаос!» Это повторит и горьковский босьяк, уже в самый канун русской революции 1917 года: «Мне было бы приятно, если бы земля вдруг вспыхнула или разорвалась бы вдребезги... лишь бы я погиб последний, посмотрев сначала на других!»

Заповедь Бакунина о соединении революции с «разбоем» будет исполнена в точности русскими коммунистами от Ленина до Сталина. Беглый каторжник Федька связан с ними так же, как с Верховенским-Нечаевым, не только исторической, временной, но и метафизической, вечною связью. Сколько бы ни признавали великие державы власти русских коммунистов «законным правительством», это мнимое государство в глубоком существе своем останется до своего последнего дня тем, чем было в свой первый день, – исполинским разбойничьим станом.

Вот как излагает Верховенский Ставрогину план революционных действий тотчас после того признания в любви: «Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк»:

«Слушайте, мы сделаем такую смуту, что все поедет с основ... Неужто вы не верите, что нас двоих совершенно достаточно?..»

В русской революции Верховенский надеется осуществить учение Шигалева,

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
диалектика всемирной социальной революции, предлагающего разделить человечество на две неравные части: «Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми; те же должны обратиться... в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, как бы земного рая». – «Меры, предлагаемые Шигалевым для отнятия у девяти десятых человечества воли и переделки его в стадо, посредством перевоспитания целых поколений, весьма замечательны, основаны на естественных данных и очень логичны», – заключает один из учеников Шигалева.

«Шигалев гениальный человек! – продолжает Верховенский. – Он выдумал равенство... Все – рабы, и все в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийства, а главное – равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов... Их (людей высшего духовного уровня) изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается камнями – вот шигалевщина... Горы сровнять – хорошая мысль. Мы уморим желание; мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство... Но нужна и судорога... Полное послушание, полная безличность, но раз в тридцать лет Шигалев пускает судорогу, и все вдруг начинают поедать друг друга, до известной черты, единственно, чтобы не было скучно... Мы провозгласим разрушение... мы пустим пожары... мы пустим легенды... Ну-с, и начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал... Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам. Тут-то мы и пустим Ивана Царевича...»

«Кого?» – удивляется Ставрогин.

«Ивана Царевича – вас, вас!.. Нам ведь только рычаг, чтобы землю поднять. Все подымется. Вы их победите – взглянете и победите. Новую правду несет и „скрывается“... И застонет стоном земля... и взволнуется море, и рухнет балаган, и тогда подумаем, как бы поставить строение каменное. В первый раз! Строить мы будем, мы, одни мы!»

«Неистовство! – проговорил Ставрогин».

Мог ли кто-нибудь представить, что это «неистовство» и есть пророчество? «Русские коммунисты умеют разрушать, но не строить», – думали все даже в самой России в первые годы после Октября. Знал один Достоевский, еще за сорок лет до переворота, что русские коммунисты будут не только разрушать, но и строить. Судя по загадочным словам в его предсмертном дневнике: «Мы не только абсолютного, но более или менее даже законченного государства еще не видели; все эмбрионы», – судя по этим словам, Достоевский уже и тогда, за сорок лет до русской революции, знал, что «каменное строение», которое предсказывал в «неистовстве» своем Верховенский, будет первым на земле абсолютным, или, как люди наших дней говорят, «тоталитарным» государством. Знал ли Достоевский и то, что это «каменное строение» может оказаться призрачным, как страшный и нелепый сон, который мгновенно разведется, только что спящий проснется; знал ли он, что это мнимое строение, созидание – только приведенное в систему и, следовательно, худшее из всех разрушений; что этот космос – только окаменелый хаос, глубочайший и злейший из всех; что это абсолютное, «тоталитарное» государство – только небывалый по величине, раскинувшийся на шестую часть земной суши, разбойничий стан или небывалый по силе плющильный молот для вдавливания, вплющивания всех духовных глубин и высот в «тоталитарную» плоскость?

Все равно, впрочем, знал ли это Достоевский или не знал, – более чем удивительно, – почти невероятно уже и то, что «каменное строение» тоталитарнейшего из всех государств им предсказано, как будто глазами увидено, за полвека до того, как построено. Но еще удивительнее, еще невероятнее то, что и самое как будто нелепое в нелепом бреде Верховенского – пришествие «Ивана Царевича» – исполнилось с такою же математической точностью, как все остальное; что и это «неистовство» оказалось пророчеством. Кроме одного Достоевского, не предвидел никто, ни даже сам Ленин, что его «чудесный грузин», Сталин, окажется «Иваном Царевичем», русским самодержцем, с такой безграничной властью, о какой не смели и мечтать ни один из бывших русских самодержцев, и что весь русский народ или то, что кажется русским народом, в глубине «зеркальной плоскости», – скажет этому Ивану Царевичу, как любящий Верховенский говорил возлюбленному Ставрогину: «Ты – мой идол! Мне именно такого и надо, как ты; я никого, кроме тебя, не знаю; ты солнце, а я твой червяк!»

Кажется, одного только Достоевский не предвидел, – что пророчество его исполнится так страшно скоро и так страшно точно.

## ГЛАВА 12

Могут быть два восстания человека на Бога: одно – на Отца, другое – на Сына, Противоотчество и Противосыновство; могут быть и две «крайние в человеке преступности», по Вейнингеру, или «бесноватости», по Достоевскому, – две «потребности убивать Бога», две воли: одна к ноуменальному Отцеубийству, другая – к такому же Сыноубийству.

В русской революции уже совершилось, как всемирно-историческое действие, Отцеубийство, а Сыноубийство только еще готовится к совершению, мы еще не знаем, в чем – в войне или в революции, но в таком же всемирно-историческом действии. Если произошедшая от сравнительно маленьких «бесов», чье имя «легион», «потому что их много», русская революция была ужасна, то насколько была бы ужаснее революция всемирная, которая произошла бы от единого великого Беса, чье имя «Антихрист».

Русская воля к ноуменальному Отцеубийству воплотилась в Петре Верховенском, а всемирная воля к Сыноубийству, такому же ноуменальному, – в Кириллове.

«Меня всю жизнь Бог мучил», – признается Кириллов. Кажется, он мог бы сказать точнее: «Меня всю жизнь мучил Сын Божий». «Что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь меня», – кличет бес из Гадаринского бесноватого (Мк. 5, 7). Люди еще не знают, кто такой Иисус, но это уже знают бесы и, мучаясь этим, исповедуют Сына. Так же точно мучается и в муке неволью исповедует Его «бесноватый» Кириллов в последнюю ночь перед самоубийством.

«Ничего нет тайного, что не сделалось бы явным. Вот Он сказал», – возвещает Кириллов, с лихорадочным восторгом указывая на образ Спасителя.

«В Него-то вы, стало быть, все еще веруете? – злобно спрашивает Верховенский. – Знаете что? По-моему, вы веруете еще больше попа».

«В кого? В Него? Слушай, – продолжает Кириллов, неподвижным, исступленным взглядом смотря перед собою. – Слушай: был на земле один день, и в середине стояли три креста. Один на кресте до того веровал, что сказал другому: „Будешь сегодня со мною в раю“. Кончился день, оба померли, пошли и не нашли ни рая, ни воскресения. Не оправдалось сказанное. Слушай: этот Человек был высший на всей земле, составлял то, до чего ей жить. Вся планета, со всем, что на ней, без этого человека – одно сумасшествие. Не было ни прежде, ни после... такого же, даже до чуда... А если так, если законы природы не пожалели и Этого, даже чуда своего не пожалели, а заставили и Его жить среди лжи и умереть за ложь, то, стало быть, вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке. Стало быть, самые законы планеты ложь и диаволов водевиль. Для чего жить, отвечай, если ты человек?».

Что это, молитва или кощунство, вера или сомнение, любовь или ненависть? Только тот мог бы это решить, кто сам находился в такой же страшной, демонически-превратной близости ко Христу, в какой находится Кириллов; так же молился Ему и кощунствовал над Ним, любил Его и ненавидел вместе. Кажется, только один человек наших дней, хотя и был все-таки дальше от Него, чем Кириллов, но подходил к тому же последнему пределу близости, как он; только один человек, кроме Кириллова, увидев Его «издалека», ужасного – желанного, ненавистного – любимого, «прибежал и поклонился Ему», подобно Гадаринскому бесноватому, и снова, перед людьми наших дней, забывшими, кто Он такой, исповедал Его: «Что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, заклинаю Тебя, не мучь меня!» Этот единственный – Ницше.

«Если нет Бога, то я – Бог». – «Неужели никто на всей планете, кончив Бога... не осмелится заявить своеволие?» Кто это говорит? Ницше в «Заратустре» или в «Антихристе»? Нет, Кириллов в «Бесах».

Достоевский совсем не знал Ницше, даже по имени. Ницше знал Достоевского очень мало. И вот, однако, существуют у них совпадения, повторения, почти дословные («Человекобог» Достоевского, «Сверхчеловек» Ницше). Это не только одни и те же мысли, самые внутренние, тайные, такие, в которых думающий едва смеет признаться себе самому, но и почти одни и те же слова, почти



Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
звуки одного и того же голоса. Как будто подслушали они друг друга или нарочно сговорились и потом нечаянно один выдает другого. Но сходятся, конечно, в этих совпадениях только противоречивейшие крайности. Здесь как бы равенство двух математических величин с противоположными знаками – положительным, Божеским, у Достоевского и отрицательным, «бесовским», у Ницше. Но так же чудесно-пророчески и с такою же математической точностью, как Ленин и Сталин – в Верховенском-Нечаеве, предсказан Достоевским и Ницше в Кириллове. То, что было и есть в России, предсказано им так же, как то, что будет или, может быть в Европе.

## ГЛАВА 13

Ужас ноуменального, из того мира в этот идущего зла – того, что религиозный опыт христианства чувствует как «бесноватость», – переживают многие; но, кажется, никто не изобразил этого ужаса так, как Достоевский.

Больше всех душевных болезней похожа на бесноватость эпилепсия. Надо было самому Достоевскому быть эпилептиком, исцеленным или почти исцеленным «бесноватым»; надо было самому пройти весь ужас нечеловеческого зла в человеке, чтобы сказать о нем людям так, как он говорит.

Кто читает как следует то, что сообщает Достоевский спокойно и холодно, с клинической точностью, увеличивающей ужас того, что он сообщает, – о сумасшествии Кириллова в последнюю минуту перед самоубийством, тот испытывает такое чувство, как будто и сам сходит с ума вместе с Кирилловым, как будто и в нем самом происходят те же извращения, вывихи человеческого разума, подобные таким чудовищным вывихам членов человеческого тела в пытке, что их уже почти нельзя узнать.

Разум Кириллова борется до конца с наступающим безумием и перед самым концом вспыхивает, подобно пламени гаснувшей лампы, так ярко и высоко, как еще никогда. В косноязычном лепете его слово человеческое приобретает такую нечеловеческую силу, какой оно обладает только у древних пророков.

«Я хочу заявить своеволие... Я начну и кончу, и дверь отворю. И спасу. Только это одно спасет всех людей и в следующем поколении переродит физически... Я три года искал атрибут божества моего и нашел: атрибут божества моего – Своеволие. Это все, чем я могу... показать непокорность и новую страшную свободу мою. Ибо она очень страшна. Я убиваю себя, чтобы показать новую страшную свободу мою...»

Кажется, не надо напоминать, – вспомнят, потому что, узнав однажды, этого уже нельзя забыть, как, схватив с окна револьвер и выбежав с ним в другую комнату, Кириллов плотно притворяет за собою дверь; как Верховенский, глядя на дверь, думает: «Если сейчас, так, пожалуй, и выстрелит, а начнет думать – ничего не будет»; и с мучительным беспокойством ждет и вдруг начинает злиться; смотрит на часы, идет к двери, берется за ручку замка и прислушивается, но ничего не слышит. Вдруг открывает дверь. «Что-то заревело и бросилось к нему». Изо всей силы прихлопнул он дверь и опять налег на нее, но уже все утихло».

То, что «заревело и бросилось к нему», – уже не человек, не он, а оно – неземное, бестелесное в земном теле человека.

Помнят все поединки Верховенского с тем неземным страшилищем, которое было Кирилловым. Произошло нечто до того безобразное и быстрое, что Верховенский никак не мог уладить потом свои воспоминания в каком-нибудь порядке. «Едва он дотронулся до Кириллова, стоявшего неподвижно в углу, как тот быстро нагнул голову и головой же выбил из рук его свечку; подсвечник полетел со звоном на пол, и свеча потухла. В то же мгновение он почувствовал ужасную боль в мизинце левой руки. Он закричал... и, вне себя, три раза изо всей силы ударил револьвером по голове припавшего к нему и укусившего палец его Кириллова. Наконец палец он вырвал и, сломя голову, бросился бежать из дому. Вслед ему из комнаты летели страшные крики:

– Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас! – Раз десять. Но он все бежал и уже выбежал было в сени, как вдруг послышался громкий выстрел».

От чего бежит Верховенский в таком нечеловеческом ужасе? От того, что сам же звал и будет звать в мир, – от настоящего, не отраженного в зеркале, плоского, а глубокого лица русской революции – от ее неземного, из того

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
мира в этот идущего ужаса. Ужас этот, впрочем, у Верховенского будет недолгим: тотчас же вспомнив о пользе, какую можно будет извлечь из самоубийства Кириллова для дела революции, он успокоится; так же быстро, легко и естественно подымется из глубины к плоскости, как подымается рыба из глубоких вод на поверхность. Утром сядет в вагоне играть, как ни в чем не бывало, в свой любимый ералаш, и только прилично перевязанный черной тафтой палец будет напоминать ему о кровавой ночи. В этой-то быстроте и легкости подъема из глубины к плоскости и заключается вся сила Верховенского-Нечаева – то, что равняет его с бессмертным Ильичом и «чудесным грузином» и за что князь мира сего дает все царства мира и славу их таким возлюбленным детям своим, как эти трое.

#### ГЛАВА 14

Самое страшное в сцене самоубийства Кириллова то, что здесь чувствуется прикосновение человеческой души к Духу зла нечеловеческого так же осязательно, как прикосновение тела к телу. Но, может быть, в предшествующей сцене убийства Шатова это чувствуется еще осязательнее и еще страшнее.

Шатова решает убить Верховенский не потому, что боится доноса его, – знает, что не донесет, – а потому, что хочет крепче слепить революционную «кучку» самым крепким и во всех революциях испытанным клеем, человеческой кровью. Темной осенней ночью предательски заманивают Шатова в самое глухое место огромного парка в старой дворянской усадьбе Ставрогиных. Трое убийц, бросившись на него сзади и сбив его с ног, придавливают к земле, а Верховенский, наставив прямо в лоб ему револьвер, спускает курок. Тело убитого решают утопить в соседнем пруду и, чтобы оно скорее пошло ко дну, привязывают к нему два больших камня.

Член Тайного Общества, губернский чиновник Виргинский, молодой человек добрейшей души и чистейшего сердца, верующий в «святое дело революции», невольный свидетель убийства, но сам не участвовавший в нем и даже сделавший все, чтобы спасти Шатова, – стоя в тесно столпившейся кучке убийц, выглядывает из-за спин «с каким-то особенным и как бы посторонним любопытством», даже приподымаясь на цыпочки, чтобы лучше разглядеть, что делают с трупом. Тут же стоит маленький почтамтский чиновник Лямшин, из выкрестов, человек от рождения плоский, но болезненно-чувствительный, с той затаенной истерикой, какая бывает у многих евреев, гнусный шалун, пустивший за разбитое стекло ободранной федьки Каторжным чудотворной иконы живую мышь. Стоя сзади Виргинского, Лямшин прячется за него, только изредка и боязливо выглядывает и снова прячется.

Кончив работу с камнями, Верховенский приподымается с земли. В то же мгновение Виргинский начинает дрожать мелкою дрожью, всплескивает руками и, внезапно нарушая общее молчание, горестно восклицает во весь голос: «Это не то, не то! Нет, это совсем не то!»

Понял вдруг, что революция «совсем не то», чем она ему казалась, – не действительная, а мнимая глубина, отраженная в зеркальной плоскости; не бесконечная правда и жизнь, а бесконечная ложь и убийство; понял – и точно земля под ним провалилась – полетел в глубину с плоскости. И тотчас же на голос его из этой неземной глубины отвечает другой голос. «Лямшин, вдруг изо всей силы обхватив Виргинского сзади, завизжал каким-то невероятным визгом... выпучив на всех глаза, раскрыв свой рот, а ногами мелко топоча по земле, точно выбивая по ней барабанную дробь».

Мчатся бесы, рой за роем,  
В беспредельной вышине,  
Визгом жалобным и воем  
Надрывая сердце мне.  
Визгу бесов в вышине отвечает с земли визг бесноватого. В человеческой жалобе Виргинского – горе: «не то, не то!», а в нечеловеческом визге Лямшина – ужас: «вот оно что!»

Когда его связали и вбили в рот скомканный платок, Верховенский, «в тревожном удивлении рассматривая сумасшедшего», говорит: «Это очень странно. Я думал про него совсем другое», – «совсем не то».

Может быть, Верховенский поражен в убийстве Шатова тем же неземным ужасом, каким будет поражен и в самоубийстве Кириллова, когда увидит вместо него

В самом плоском существе, в Лямшине, зазияла вдруг глубина, и Верховенский опускается на эту глубину, но только на одно мгновение: тотчас же снова подымается к плоскости так же быстро, легко и естественно, как подымается рыба из глубоких вод на поверхность.

Когда дело кончено, труп убитого брошен в воду, Верховенский обращается к убийцам с успокоительной речью: «Господа, без сомнения, вы должны ощущать ту свободную гордость, которая сопряжена с исполнением свободного долга... Чтобы все рушилось... и государство, и нравственность... много еще предстоит Шатовых». Он мог бы сосчитать приблизительно: «сто миллионов голов», как сосчитано в прокламациях.

## ГЛАВА 15

Эти прикосновения человеческой души к Духу зла нечеловеческого у всех одержимых в «Бесах» мгновенны и только у одного Ставрогина длительны; для тех они страшны, а для него только скучны неземною скукою здесь уже, во времени, как там, в вечности – «закоптелой бане с пауками по всем углам». От чего Виргинский плачет, Лямшин визжит и Кириллов сходит с ума, – Ставрогин только зевает. Кажется, с внутренней зевотой признается он и Тихону в исповеди, что «подвержен, особенно по ночам... галлюцинациям; видит и чувствует подле себя какое-то злобное существо, насмешливое и разумное, в разных лицах, но всегда одно и то же».

«Все это вздор, – быстро и с неловкой досадой прибавляет он, спохватившись. – Это я сам в разных видах, и больше ничего. Вы думаете, что я сомневаюсь, что это я, а не в самом деле бес?»

«И... вы видите его действительно?» – спрашивает Тихон.

«Разумеется, вижу, вижу так, как вас...а иногда вижу и не уверен, что вижу... не знаю, что правда, – я или он».

И прибавляет неожиданно:

«Я верую в беса, верую канонически, в личного – не в аллегория...»

И еще неожиданней, как будто смеясь или все еще внутренне зевая от скуки, а на самом деле с жадным любопытством и, может быть, с таким чувством, как будто ответом на этот вопрос для него решается вечная судьба его – спасение или гибель:

«А можно веровать в беса, не веруя в Бога?» «О, конечно, можно, сплошь и рядом», – отвечает Тихон, но главного не говорит, да это, может быть, и не надо Ставрогину: он уже и сам знает, что для верующих в беса он и есть БОГ; знает и сделанный Кирилловым вывод отсюда – движущую силу всерусской, а может быть, и всемирной революции: «Если нет Бога, то человек – Бог, тогда новая жизнь, все новое; тогда историю будут делить на две части: от гориллы до уничтожения Бога и от уничтожения Бога до перемены земли и человека физически». Вывода этого Ставрогин не делает, потому что революция «наскучила» ему так же, как все в мире. Но делает другой вывод: «Я знаю, что мне надо бы убить себя, смести себя с земли как подлое насекомое». Это он и сделает, может быть, не случайно выбрав для себя ту же смерть, как погубленная им девочка, – петлю. Так же ли скучно ему, как всегда, или чуть-чуть повеселее в ту минуту, когда на чердаке ставрогинского дома-дворца он густо намыливает крепкий шелковый шнурок для петли?

«Медики, по вскрытии трупа, совершенно и настойчиво отвергли помешательство», – в этих последних словах книги, может быть, заключается то, к чему вся она стремится, как пирамида к своему острию, и в чем надо искать ключа к замкнутой семье замками двери – тайне русской революции. «Медики отвергли помешательство» – это значит: вовсе не душевная болезнь – «бесноватость» Ставрогина, а что-то совсем другое, более общее и, возможно, свойственное всем людям вообще. Когда Ставрогин думает, что бес его – «галлюцинация», и когда говорит ему, как Иван Карамазов: «Ты не сам по себе, ты – я, и более ничего», – он ошибается; но прав, когда верит, что бес его существует действительно. А если так, то социальная демонология русской и всемирной революции сводится к религиозной онтологии – к познанию Сущего,

## ГЛАВА 16

Отчего гибнет Ставрогин? Оттого же, отчего погибла Россия, – от «беса», искушающего «двумя правдами», чье имя Двойник. «Две мысли вместе сошлись, – говорит уже не „злодей“ Ставрогин, а почти святой князь Мышкин („Идиот“). – Это очень часто случается; со мной – непрерывно. Я, впрочем, думаю, что это нехорошо; я в этом больше всего укоряю себя. Мне даже случалось иногда думать, что и все люди так, и я начал было одобрять себя, потому что с этими двойными мыслями ужасно трудно бороться». – «Две мысли, сошедшиеся вместе», два сознания или, точнее, два чувства, две бессознательные воли, в своем неразрешимом противоречии уничтожают человека, подобно тому как два исполинских жернова размалывают легкое зерно. В этом раздвоении князь Мышкин, почти святой, чувствует себя «преступником», как будто «неведомая вина, великое злодейство тяготеет над ним». Но и «все люди так»: та же «вина тяготеет» надо всеми людьми, потому что все они родились и участвуют в первородном грехе – в том раздвоении «ветхого Адама» между деревом жизни и деревом познания, которым открыт был путь Духу Искусителю в сердце человека. В этом смысле все люди – «бесноватые» в возможности.

«Между двумя правдами» гибнет Раскольников. «Я могу чувствовать преудобнейшим образом два противоположных чувства в одно и то же время», – признается и Версиков («Подросток»). Он знает, что «это бесчестно, потому что уж слишком благообразно», и плоско, «мелко», по слову Ставрогина, но это не мешает им обоим находить в этих противоположных чувствах «совпадение красоты, одинаковость наслаждения». Когда Версиков раскалывает икону Спасителя на две половины, то делает это не он сам, а его Двойник, или не он один, а он «вместе со своим Двойником».

«Я могу пожелать сделать доброе дело и ощущаю от того удовольствие; рядом желаю и злого и тоже чувствую удовлетворение. Но и то и другое чувство всегда слишком мелко», – признается Ставрогин.

«Правда ли, будто вы уверяли, что не знаете различия в красоте между какою-нибудь сладострастной, зверскою штукой и каким угодно подвигом, хотя бы и жертвой жизнью для блага человечества? Правда ли, что вы в обоих полюсах нашли совпадение красоты, одинаковость наслаждения?» – спрашивает Ставрогина Шатов.

В те же самые дни Ставрогин проповедует Христа, Богочеловека – Шатову и Антихриста, Человекобога – Кириллову; увлекает обоих с одинаковой силой и потом с одинаковым презрением покидает. Но они его не покинут: по тому глубокому чувству, с каким Кириллов ему говорит: «Вспомните, Ставрогин, что вы значили в моей жизни», – видно, что он все еще верит в него. И Шатов точно так же «осужден верить в него во веки веков», готов «целовать следы его ног», «не может вырвать из сердца своего Николая Ставрогина» и считает себя «учеником, воскресшим из мертвых», а его – «учителем, вещавшим огромные слова».

Это – Кириллов и Шатов, а что же сам Достоевский? Неужели он не боится кощунства, влагая в уста такого учителя, как Ставрогин, величайшую святыню свою – мысль о русском народе «Богоносце»? Или он не сознает, что делает? Нет, кажется, слишком хорошо сознает и, если все-таки делает, то, может быть, потому, что именно здесь, в этом «соприкосновении противоположностей», в страшных «двойных мыслях» Ставрогина, в последней глубине раздвоения предчувствует единственно возможный путь к соединению – к той ослепляющей молнии, которая должна вспыхнуть между «обоими полюсами». Отчего же молния так и не вспыхнула?

Две нити вместе свиты,  
Концы обнажены.  
То «да» и «нет» не слиты,  
Не слиты – сплетены.  
Их темное сплетенье  
И тесно, и мертво. [42]

Кажется, это именно и происходит в Ставрогине: две полярно противоположные силы его бессознательного существа бесконечно растут, напрягаются, но не доходят до своих обнаженных в сознании «концов» и потому не могут сосредоточиться и разразиться; не соединяясь, только смешиваются, так что высшая сила, не родив огня и света, вырождается в низшую – в рассеянную, стывшую и темную теплоту – тление смерти.

Когда «черт», «двойник» Ивана Карамазова говорит: «Для меня существуют две правды: одна тамошняя, ихняя (Божия), а другая – моя», то он лжет и кощунствует: для него существуют не «две правды», а только две полу-правды – две лжи, потому что ложь и есть полу-правда – правда не до конца, не до Бога, – одна половина правды, не соединенная с другой. Когда черт говорит «Богочеловек» и когда говорит «Человекобог», – он одинаково лжет, потому что не знает, «есть ли Бог», – не хочет знать Бога, а следовательно, не может знать ни Богочеловека, ни Человекобога. Если бы он признал Бога, то не мог бы не признать, что Богочеловек и Человекобог – не два, а одно с того мгновения, как сказано: «Я и Отец одно». Но в том-то и ложь Отца лжи, что он не хочет соединения, – не хочет, чтобы Два всегда было Двумя, и для этого сам притворяется одним из Двух – то Отцом против Сына, то Сыном против Отца. Вот почему две главные движущие силы в социальной демонологии русской и всемирной революции – Противоотчество и Противосыновство – воля к Отцеубийству и Сыноубийству в Боге.

Все это может казаться отвлеченным, но на самом деле это единственно жизненно и действенно в борьбе с революционной демонологией. Если царство русских коммунистов так прочно и длительно («Царствию нашему не будет конца», – предсказывали они уже в первые дни после Октября), то лишь потому, что вся борьба с ними велась и донныне ведется только на социальной поверхности, а не в той религиозной глубине, где заложено основание этого царства.

#### ГЛАВА 17

От того же, от чего погибает великий грешник, Ставрогин, – едва ли не погиб и великий святой, Августин.

«Две души» – в этом заглавии книги, написанной Августином против манихейства, религии Бога и Противобога, дьявола, – лучше всего понят соблазн Двух Начал не только для самого Августина, но и для всего человечества, потому что все оно могло бы сказать как Фауст:

Ах, две души живут в моей груди!

«Две души» в человеке и в человечестве – «две воли, и ни одна из них не цельная, но у каждой есть то, чего нет у другой», – учил Августин во дни своего манихейства и радовался этому вдвойне, потому что ни Бога не надо ему было обвинять, страдая от зла, ни себя, делая зло. Вырванным казалось ему из мира и сердца человека ядовитое жало греха, мука всех мук, потому что, согласно с этим учением, не сам человек грешит, делая зло, а «какое-то иное, хотя и живущее в нем, но отдельное от него Существо, substantia, – что-то во мне, но не я». – «Делая зло, я оправдывал себя и обвинил что-то другое, что было во мне, но не было мной».

Вот как просто, легко и радостно. Но радость, увы, оказалось недолгой. Слишком двоиться душе человека опасно: как и в теле не оказаться двумя, не увидеть себя и другого, себя и его, и не умереть или не сойти с ума от ужаса. Это с Августином и случилось: он увидел его, или почти увидел, не только в душе своей, но и в теле и почти сошел с ума от ужаса: «unde hoc monstrum? – что это за чудо во мне, что за чудовище, и откуда оно?» Понял вдруг, что оно – от него же самого, что это «чудовище» – его же Двойник.

Кажется, нечто подобное произошло и с Россией в те дни, когда совершилось над ней дьявольское чудо революции, в котором «бесноватый» русский народ оказался «двойником» русского народа, «Богоносца».

«Двойственность, – пишет Достоевский незадолго перед смертью в одном откровенном письме к неизвестной, но, кажется, очень близкой ему женщине, – двойственность – черта, свойственная человеческой природе вообще... Вы мне родная, потому что раздвоение в вас точь-точь, как и во мне, и всю жизнь во мне было. Это большая мука, но в то же время и большое наслаждение». – «Правда ли, что вы в обоих полюсах нашли совпадения красоты, одинаковость наслаждения?» – этот вопрос Шатова Ставрогину можно бы задать и самому Достоевскому. В самой ледяной точке сомнения – отдаления от Христа – он со Ставрогиным сходится так же, как в самой огненной точке веры – приближения ко Христу. «Если бы математически доказали, что истина вне Христа, то я бы согласился лучше остаться со Христом, чем с истиной», – говорит Ставрогин, и теми же почти словами Достоевский: «Христос ошибался – доказано. Но жгучее чувство (любви) говорит: лучше я останусь с ошибкой, со Христом, чем

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
с вами». Внутренняя близость Достоевского к Ставрогину видна по таким совпадениям в двух противоположно-крайних точках, нижней и верхней, как бы в надире и зените христианского опыта.

«Две были борющихся воли во мне.. и душу мою раздирали они, борясь.. я был в обеих, я был в двух, ego in utroque», – мог бы сказать и Достоевский, как св. Августин.

## ГЛАВА 18

«Стать настоящим русским значит... стать братом всех людей, всечеловеком». Вот в Достоевском одна из «двух борющихся правд», а вот и другая: «Всякий народ до тех пор только и народ, пока имеет своего бога особого, а всех остальных на свете богов исключает без всякого примирения; пока верует, что своим богом победит и изгонит из мира всех остальных богов». Можно было бы сомневаться, разделяет ли эти мысли своего героя, Шатова, сам Достоевский, если бы он не повторял их в «Дневнике писателя»: «Всякий великий народ верит и должен верить, что в нем и только в нем одном заключается спасение мира... Великое самомнение, вера в то, что хочешь и можешь сказать последнее слово миру, есть залог высшей жизни всех наций».

Это учение Ставрогина, Шатова и самого Достоевского мог бы принять и Ницше и, действительно, принял его, даже почти дословно повторил в «Антихристе»: «Верующий в себя народ... имеет и своего Бога особого, hat auch... seinen eignen Gott. В Боге чтит народ свои же собственные добродетели; благодарит себя за себя, – вот для чего народу нужен Бог».

«Нет ни Эллина, ни Иудея... варвара, Скифа... но все и во всем Христос», – учит ап. Павел (Кол. 3, 11). Это значит: нет «особых народных богов», а есть один Бог для всего человечества. Слишком понятно, что этого не хочет знать Ницше – «Антихрист». Но как же христианин или желающий быть христианином Шатов мог забыть об этом так, как будто никогда никакого христианства и на свете не было? И с кем же сам Достоевский – с Шатовым, христианином, или с «Антихристом», Ницше? Кажется иногда, что с обоими: «ego in utroque, я в обоих, я в двух», и что не знает, где он сам, настоящий, и где его «двойник».

«Русский удел есть всемирность, приобретенная не мечом, а силою братства», – вот опять одна из «двух правд», а вот и другая. «Спасет ли пролитая кровь?» – ставит Достоевский <вопрос> в «Дневнике писателя» в 1877 году, говоря о всеевропейской войне, которую могла бы начать Россия, – тот же страшный вопрос в области общественной, какой в области личной ставит нигилист Раскольников, и дает тот же страшный ответ: «кровь себе разрешает по совести». – «Лучше раз извлечь меч, чем страдать без срока». – «Человечество любит войну... Долгий мир ожесточает людей, производит разврат». – «Война очищает зараженный воздух, лечит душу, прогоняет позорную трусость и лень». – «Без войны провалился бы мир или, по крайней мере, обратился бы... в какую-то подлую слякоть». – «Война необходима... Это возмутительно, если подумать отвлеченно, но на практике выходит, кажется, так». А христианство? «Христианство само признает факт войны и пророчествует, что меч не преидет до конца мира».

«Римское католичество, – по мнению Достоевского, – воевав... что Христос без царства земного устоять не может, тем самым провозгласило Антихриста». Но не то же ли самое делает и русское православие Достоевского, когда он мечтает о всемирной монархии? «Третьим Римом Москва (Россия) еще не была, а между тем должно же исполниться пророчество: без Рима – (царства земного) – мир не обойдется». Константинополь и будет «третьим, русским Римом», по праву наследия Восточной Римской империи. Но завоевание Константинополя – только первый шаг России в Азию, по следам великих завоевателей, потому что только там, в Азии, возможно всемирное единение человечества, всемирная монархия. «В Азию! В Азию! – как будто бредит Достоевский в своем предсмертном дневнике. – Пусть в этих миллионах людей... растет убежденность в непобедимости Белого Царя и в несокрушимости его меча». Знает, конечно, Достоевский, что для такого соединения Европы с Азией должны пролиться уже не реки, а моря человеческой крови, но не боится их, потому что верит, что над ними только произойдет настоящее православное «воздвижение Креста Христова».

Когда Ницше противопоставляет Западной Европе, «разлагающейся под влияние демократического христианства», самодержавную Россию как новое подобие

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
древнего языческого Рима, Imperium Romanum, и как «единственную страну, которая еще имеет крепость в теле, может ждать и надеяться», то это понятно. Но как может соглашаться в этом с Ницше – «Антихристом» – христианин Достоевский, совсем непонятно.

О Русь, в предвиденье высоком

Ты мыслью гордой занята:

Каким ты хочешь быть Востоком, –  
Востоком Ксеркса или Христа?

Кажется иногда, что религиозная воля Достоевского двоится между Христом и Ксерксом, Христом и Антихристом: «Я весь точно раздваиваюсь», – как признается Версиров, когда вместе с «двойником» своим раскалывает образ Спасителя. Кажется иногда, что и сам Достоевский делает нечто подобное с образом «русского народа Богоносца».

## ГЛАВА 19

«Тысячу раз я дивился на эту способность человека (и, кажется, русского человека по преимуществу) лелеять в душе своей высочайший идеал рядом с величайшей подлостью, – признается Достоевский устами „Подростка“. – Широко ли это особенная в русском человеке, которая его далеко поведет, или просто подлость – вот вопрос». Кажется, Достоевский знает лучше, чем кто-либо, что великая трагедия религиозной раздвоенности совершается не только на поверхности, в так называемом «культурном» слое русского народа, но и в его глубине. Потому-то, может быть, этот народ и кажется ему «всемирным» по преимуществу, что он переживает эту трагедию раздвоенности с такою силою и с такою мукою, как не переживал ее ни один из европейских народов.

«Вижу, вползает ко мне раз мужик на коленях, – вспоминает у Достоевского, в „Дневнике писателя“ (1873 г.), святой старец, монах-исповедник. – Я еще из окна видел, как он полз по земле. Первым словом – ко мне:

– Нет мне спасения: проклят! И что бы ты ни сказал, – все одно, проклят!

Я его кое-как успокоил; вижу, за страданием приполз человек издалека.

– Собрались мы в деревне несколько парней, – начал он говорить, – и стали промежду себя спорить: „кто кого дерзностнее сделает?“ Я, по гордости, вызвался перед всеми. Другой парень отвел меня и говорит мне, с глазу на глаз: „Это никак невозможно тебе, чтобы ты сделал так, как говоришь, – хвастаешь!“ Я ему стал клятву давать. „Нет, стой, поклянись, – говорит, – своим спасением на том свете, что все сделаешь так, как я тебе укажу“. Я поклялся. „Теперь скоро пост, – говорит, – стань говеть. А когда пойдешь к причастию, причастье прими, но не проглоти; отойдешь – вынь рукой и схорони, а там я тебе укажу“. Так я и сделал. Прямо из церкви повел он меня в огород. Взял жердь, воткнул в землю и говорит: „Положи!“ Я положил на жердь. „Теперь, – говорит, – принеси ружье“. Я принес. „Заряди“. „Подыми и выстрели“. Я поднял руку и наметил. И вот только бы выстрелить – вдруг передо мною как есть крест, а на нем Распятый. Тут я и упал с ружьем, в бесчувствии».

«Во-первых, – заключает Достоевский, – мне удивительно всего более самое начало дела, то есть возможность такого спора и состязания в русской деревне: „кто кого дерзностнее сделает?“ Ужасно на многое намекающий факт, а для меня почти совсем и неожиданный... В этом факте есть нечто, изображающее весь русский народ в его целом... Это прежде всего – забвение всякой меры во всем, потребность отрицания в человеке, иногда самом неотрицающем и благоговейшим, – отрицания всего – самой главной святыни сердца своего... всей народной святыни во всей ее полноте, перед которой сейчас лишь благоговел и которая вдруг как будто стала невыносимым бременем... Иногда тут просто нету удержу... Тут иной русский человек готов порвать все, отречься от всего – от семьи, обычая, Бога... стоит только попасть ему в этот вихрь – круговорот судорожного и моментального самоотрицания и саморазрушения».

В частном, только что рассказанном случае, что собственно происходило в душе «искусителя»? – спрашивает Достоевский и отвечает: «Может быть, давно уже, с детства, эта мечта заползла в душу его, потрясла ее ужасом, а вместе с тем и мучительным наслаждением. Что придумал он все давно уже – и ружье, и огород – и держал только в страшной тайне, – в этом почти нет сомнения. Придумал, разумеется, не для того, чтобы исполнить, да и не посмел бы,

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
может быть, один никогда. Просто нравилось ему это видение, пронизало душу его изредка, манило его, а он робко поддавался и отступал, холодея от ужаса. Один момент такой неслыханной дерзости, а там – хоть все пропадай! И уж, конечно, он веровал, что за это ему вечная гибель; но „был же и я на таком вершине!“ И в самую минуту исполнения, когда искушаемый уже целился из ружья в Причастие, на дне души у обоих – у жертвы так же, как у искушителя, – должно было быть непременно некоторое адское наслаждение собственной гибелью, захватывающая дыхание потребности нагнуться над пропастью и заглянуть в нее, потрясающее наслаждение перед собственной дерзостью». И вот, в самый последний миг – «неимоверное видение (Распятый на кресте) предстало ему... все кончилось».

За полторы тысячи лет до этого маленького случая в этой деревне – в Северной Африке, в римской провинции Нумидии, в захолустном городке Тагасте, произошел случай, как будто еще более ничтожный, с шестнадцатилетним мальчиком Аврелием, будущим св. Августином. Через много лет вспоминает он об этом ничтожном случае как об одном из важнейших событий всей жизни своей. «Грушевое дерево росло (в чужом саду) по соседству с нашим виноградником... Помню, однажды в глухую ночь мы, шайка негодных мальчишек... отправились в сад, к этому дереву, чтобы нарвать с него груш (наворовать). И унесли их великое множество, но не для лакомства, потому что, едва отведав, бросили их свиньям, а для чего-то другого... Вот сердце мое, Господи, вот сердце мое... пусть же скажет оно Тебе, чего искало в этом зле ради зла, *gratis malus*». «Гнусно было зло, но я его хотел; я любил себя губить, *amavi perire*, – не то, ради чего я грешил, а самый грех... Гнусная душа моя низверглась с неба твоего Господи, во тьму кромешную».

Вот простое химическое тело Зла в чистейшем виде – Первородный Грех, восстание человека на Бога, «воля к превратности», *perver sitas*, – зло ради зла. «Ибо душа моя, – продолжает Августин исповедь свою, – прелюбодействует, *fornicatur*, когда, отвращаясь от Тебя, Господи, ищет... того, что может найти только в Тебе. Но, как бы далеко ни отходила она от Тебя, все-таки хочет Тебе же уподобиться... потому что некуда ей бежать от Тебя... Что же я тогда любил в воровстве моем?... чем хотел уподобиться Тебе, хотя бы и превратно? Не тем ли, что мне было сладко преступать закон... и, будучи рабом, казаться свободным... в темном подобии Всомогущества Божия, *tenebrosa omnipotentiae similitudine*».

Кажется, ничего подобного этому наблюдению законов механики, действующих одинаково в солнечных системах и в атомах человеческого духа, не будет в религиозном опыте всего христианского человечества, вплоть до «Записок из подполья» Достоевского и рассказанного им в «Дневнике писателя» случая с деревенскими парнями. В том «потрясающем восхищении перед собственной дерзостью», которое испытывает парень, целящийся из ружья в Причастие, – такое же упоение «темным подобием Всомогущества Божия», как и у шестнадцатилетнего мальчика Аврелия. Кто эти два парня – искушаемый и искушитель? Адам и Змей, или бесноватый и бес, или человек и его Двойник.

Как прав был Достоевский, когда находил в этом маленьком случае «нечто, изображающее весь русский народ в его целом», – показало будущее – теперь для нас уже настоящее. То же, что происходит в бесконечно малой величине, атоме народной жизни, – в случае с деревенскими парнями, – произойдет и в величине бесконечно большой – во всемирно-историческом действии русской революции. То, чего «бесноватый» парень все-таки не сделал, перед чем в последний миг отступил, то сделает и перед тем не остановится «бесноватый» русский народ в революции.

В этом маленьком случае происходит самозарождение, самовозгорание русской революции, потому что верные слуги русского самодержавного царя и послушные дети Русской Православной Церкви, парни эти никогда ни о какой революции, конечно, не слышали, ни в каких прокламациях об «уничтожении Бога» не читали, а между тем лучше взрывчатого вещества не надо будет и самому Ленину. В той русской деревне, где в кошунстве над Причастием делается опыт антирелигии, происходит точно такое же вхождение бесов в душу русского народа, как в том городе, где Верховенский делает свой опыт революции. И здесь, и там одинаково загорается в людях изначальная, потому что от первородного греха идущая, «воля к превратности» – «крайняя в человеке преступность», которая есть не что иное, как «потребность убивать Бога».



Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
Вечною песнью русской революции останутся «Двенадцать» Александра Блока.

Разыгралась чтой-то вьюга,  
Ой, вьюга, ой, вьюга!  
Не видать совсем друг друга  
За четыре за шага...  
Та же и здесь русская вьюга, и те же «бесы» в ней, как у Пушкина:

Бесконечны, безобразны,  
В мутной месяца игре  
Закружились бесы разны,  
Точно листья в ноябре...  
Сколько их! Куда их гонят?  
Что так жалобно поют?  
Домового ли хоронят,  
Ведьму ль замуж выдают?  
Если Блок, слагая песнь свою о русской революции, ни о «Бесах» Пушкина, ни о «бесах» Достоевского вовсе и не думал, то тем значительнее совпадение того, что предсказано там, с тем, что исполняется здесь. Блок совпадения не ищет – оно само к нему приходит, потому что заключено в существо русской революции как явление ноуменального зла – «бесноватости».

Свобода, свобода,  
Эх, эх, без креста!  
В этом, конечно, главное; это повторяется как «ведущий напев», Leit-Motiv, во всей так чутко подслушанной Блоком «музыке русской революции». Здесь главное – то, с какой удивительной легкостью русский крестьянский – «крещеный» – народ внезапно сбрасывает с себя крест. «Странно! – удивляется в предсмертном дневнике своем, „Апокалипсисе нашего времени“, один из самых вещей и ближайших к Достоевскому русских людей, Розанов. – Странно! Всю жизнь мы крестились... и вдруг сбросили крест... Переход в социализм, а значит, и в полный атеизм – (вернее, в „антитеизм“, „противобожество“, по Бакунину-Нечаеву) – совершился у мужиков, у солдат до того легко, точно в баню сходили и окатились новой водой... Нигилизм – это и есть имя, которым давно окрестил себя русский человек, или, вернее, имя, в которое он раскрестился».

Революционный держите шаг!  
Неугомонный не дремлет враг!  
Товарищ, винтовку держи, не трусь!  
Пальнем-ка пулей в Святую Русь!  
Тою же пулей винтовка у этих «бесноватых» заряжена, как ружье у того, кто в Причастие целился. Сына Божия хотел убить тот, а эти хотят расстрелять Матерь Божию, чей лик на лице России Матери запечатлен. Матку-волчиху и волк не грызет, но эти люди хуже волков.

Трах-тах-тах! – И только эхо  
Откликается в домах...  
Только вьюга долгим смехом  
Заливается в снегах.  
Трах-тах-тах!  
Это выстрелы по тем «миллионам голов», которых требовал некогда Верховенский-Нечаев и получил Ленин, – получит Сталин.

Мы на горе всем буржуям  
Мировой пожар раздуем,  
Мировой пожар в крови...  
Эх, эх!  
Позабавиться не грех!  
Что же, весело им от этой «забавы»? Нет, скучно:

Скука скучная,  
Смертная!  
Скука неземная всех революций и русской – по преимуществу: здесь, уже на земле, наступающая скука вечности – «закоптелой бани с пауками по всем углам». «Царствию нашему не будет конца!» – шелестят пауки и ткнут паутину вечности. «Времени больше не будет», по клятве Великого Ангела: вот что значит «Апокалипсис нашего времени». Скучно всем, кроме одного «Ивана Царевича», Сталина, потому что он – сама Скука, и она не в нем, а от него.

Кто же ведет этих двенадцать новых апостолов? Увы! в ответе на этот вопрос

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
уже не только всей песне, но самому певцу страшный конец.

...Так идут державным шагом...  
Впереди – с кровавым флагом,  
И за вьюгой невидим,  
И от пули невредим,  
Нежной поступью надвьюжной,  
Снежной россыпью жемчужной,  
В белом венчике из роз,  
Впереди – Иисус Христос.

Если бы пристальней взгляделся Блок в лицо того, кто кажется ему Христом, то увидел бы, что это не Христос, а двойник Его – Антихрист. Кажется, впрочем, действительно, взгляделся и увидел. Бедный певец! Понял вдруг, что песнь Антихриста пел не он сам, а его двойник, и ужаснулся: «Что это за чудо во мне, что за чудовище?» – и сошел с ума от ужаса.

Так завершается то, что увидел Достоевский в пророческом сне, а Блок – наяву.

Это было и есть, потому что царство русских коммунистов неизменно в онтологическом, внутреннем существе своем, сколько бы ни изменялось по внешности: так же никогда не делается оно чем-либо существенно иным, как многоугольник, сколько бы ни умножались стороны его, никогда не делается кругом. Этого не видят европейцы извне, но это больше, чем видят, – чувствуют русские люди, не только однажды раненные, но и вечно ранимые углами мнимого круга, действительного многоугольника. Это было и есть в России; что же в ней будет?

Если пророчество Достоевского исполнилось с такою чудесною точностью о том, что для нас теперь уже было и есть в России, то очень вероятно, что оно исполнится с такою же точностью и о том, что будет. Или другими словами: если Достоевский верно угадал, как «бесы» вошли в русский народ, то очень верно и то, как они из него выйдут. Или еще другими словами: если прошлым и настоящим русской революции – ее «потребность убивать Бога» – уже оправдана догадка Достоевского, что в случае с «бесноватым» парнем, целившимся в Причастие, было «нечто, изображающее весь русский народ в его целом», то очень вероятно, что будущим той же революции оправдается и догадка Достоевского, что в «неимоверном видении», которым для того бесноватого парня «кончилось все», – было тоже нечто, изображающее весь русский народ в его целом. Может быть, в этой невольной у самих «Двенадцати» вырывающейся жалобе, как бы стенании человека, раздавленного непосильной тяжестью:

Эх, эх, без креста!  
уже предчувствуется то неимоверное видение – Распятый на кресте, которым и для них кончится все.

## ГЛАВА 21

Русский либерал 40-х годов, безответственный болтун, неисцелимо-праздный и пустой человек, но очень добрый и, несмотря на множество маленьких пороков, детски-чистый, Степан Трофимович Верховенский умирает не только нравственной, но и физической смертью от одного лишь гнусного вида и смрада входящих в Россию «бесов», из которых самый гнусный и смрадный вошел в родного сына его, Петра Верховенского. За несколько дней до смерти, когда он уже становится мудрым и вещим, как это бывает иногда с умирающими, Степан Трофимович просит сиделку свою прочесть ему Евангелие от Луки о Гадаринском бесноватом и, когда она прочла, восклицает «в невыразимом волнении»:

«Друг мой, это чудесное... и необыкновенное место было мне всю жизнь камнем преткновения... так что я его еще с детства упомянул. Теперь же мне пришла одна мысль... Видите, это точь-в-точь, как наша Россия. Эти бесы, выходящие из бесноватого и входящие в свиней, – это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем народе, в нашей России, за века, за века... Но великая мысль и великая воля осенят ее свыше, как и того бесноватого. И выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, загноившаяся на поверхности... и сами будут проситься войти в свиней. Да, может быть, уже и вошли! Это мы, мы, и те, и Петруша (сын его), и все остальные с ним... и я, может быть, первый во главе... И мы бросимся, безумные и взбесившиеся, со скалы в море и все потонем – и туда нам и дорога. А больной исцелится и сядет у ног Иисусовых... и будут все

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
глядеть с изумлением... Милая, вы это поймете потом... Мы все вместе пойдем».

Этого еще никто в Европе не понял, но, кажется, в России уже начинают понимать и, когда поймут до конца, – чудо совершится: сядет исцеленный бесноватый «у ног Иисуса, одетый и в здравом уме; и все ужаснутся» (Лк. 8, 35). Только для того и существуют русские изгнанники, чтобы это понять и сказать миру так, чтобы и он это понял.

## ГЛАВА 22

«Русский народ – самый атеистический из всех народов», – думает Белинский, один из отцов русской революции. Так же думает или хотел бы думать Некрасов, которого и доньше русские коммунисты считают одним из своих провозвестников. Так думает Некрасов о русском народе, но чувствует его совсем иначе.

Храм воздыханья, храм печали –  
Убогий храм земли твоей:  
Тяжеле стонов не слышали  
Ни римский Петр, ни Колизей.  
Сюда народ, тобой любимый,  
Своей тоски неодолимой  
Святое бремя приносил  
И облегченный уходил!  
Войди! Христос наложит руки  
И снимет волею святой  
С души оковы, с сердца муки  
И язвы с совести больной...  
Я внял, я детски умилился...  
И долго я рыдал и бился  
О плиты старые челом,  
Чтобы простил, чтоб заступился,  
Чтоб осенил меня крестом  
Бог угнетенных, Бог скорбящих,  
Бог поколений, предстоящих  
Пред этим скудным алтарем! [43]  
Думал и Блок, когда писал «Двенадцать», что «русский народ – самый атеистический из всех народов», но чувствовал иначе и, когда понял, что писал «Двенадцать» не он сам, а его «двойник», то, может быть, вспомнил предчувствие падения своего:

О, как паду и горестно, и низко,  
Не одолев смертельные мечты!  
После «Двенадцати» он совсем замолчал и «в последние годы не говорил почти ни с кем ни слова, – по воспоминаниям близких его. – Поэму свою он возненавидел так, что не терпел, чтобы о ней упоминали при нем». Кажется, и он, как тот «бесноватый» парень, целившийся из ружья в Причастие, готов был приползти на коленях туда, где мог бы покаяться. Медленно умирал он от голода, потому что ничего не хотел принять из рук убийц, не своих, а той, кто была ему дороже, чем он сам, – России; медленно задыхался и задохся до смерти. Вспомнил, может быть, умирая, и это предчувствие страшного суда, которым сам себя осудил:

И пусть над нашим смертным ложем  
Взовьется с криком воронье...  
Те, кто достойней, Боже, Боже,  
Да внидут в Царствие Твое!  
Может быть, и в том, что эти два великих и вещей, к русской революции ближайших поэта, Некрасов и Блок, отступают от Христа и снова к Нему возвращаются, есть «нечто, изображающее весь русский народ в его целом». – «В полный атеизм перешел он так легко, точно в баню сходил и окатился новой водой». Но эта мнимая легкость делается безмерною тяжестью. В баню иную войдет, где уже не водой, а собственной кровью омоется. Двадцать лет по всей России будет литься кровь мучеников так, как после первых веков христианства еще никогда и нигде не лилась.

Надо быть слепым и глухим к тому, что сейчас происходит в России, как слеп и глух европейский Запад, чтобы не видеть и не слышать, что если революция есть движение вперед, освобождение народа, то дело русских коммунистов вовсе не революция, а такая реакция, такое движение назад и порабощение народа, каких еще никогда не было за память истории. Иго русских царей по

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
сравнению с игом русских коммунистов было легче пуха; рабство от тех по сравнению с рабством от этих было невообразимой свободой.

Только что русский крестьянский – крещеный – народ сбросил Крест и запел:

Свобода, свобода,  
Эх, эх, без креста! –  
как вот что получил:

Горе вам, горе, пропащие головы!  
Были оборваны – будете голы вы;  
Били вас палками, розгами, кнутьями, –  
Будете биты железными прутьями!  
Чтобы видеть в этом освобождение народа, надо быть русским коммунистом.

Один из первенцев русской свободы, вождей декабрьского восстания 1825 года, Сергей Муравьев пишет в своем «Православном Катехизисе» – не только политически, но и метафизически полярной противоположности «Революционному Катехизису» Нечаева и Бакунина:

«Вопрос: Отчего русский народ... несчастен?

Ответ: Оттого, что цари похитили у него свободу.

Вопрос: Что же Святой Закон повелевает нам делать?

Ответ: Раскаяться в долгом раболепствии и, ополчась против тиранства и нечестия, поклясться: да будет всем един Царь на небеси и на земли Иисус Христос».

Это и донныне все еще ответ на вопрос, что делать России, чтобы освободиться от нового, злейшего «тиранства и нечестия» русских коммунистов.

Все, что говорит и делает Сергей Муравьев, сводится к одному: «Именно у нас, в России, более, чем где-либо, в случае восстания, в смутные времена переворота, вера должна быть надеждой и опорой нашей твердейшей». Вольность и вера вместе в России погублены и восстановлены могут быть только вместе. Это и значит: русская свобода, родившаяся под крестным знаменем, только под ним и победит.

Действию равно противодействие, по закону духовной так же, как физической, механики. Если внутренняя, религиозная сила народа нигде не подавлялась таким внешним насильем, как под плющильным молотом русских коммунистов, то и взрыв этой силы в освобожденной России будет такой, как нигде.

В конце прошлого века на юге России, в Днепровских плавнях, целая община русских сектантов закопалась в землю, погреблась заживо в ожидании наступающего конца мира и Второго Пришествия. Вот что говорит об этом Розанов: «Это, может быть, самое ужасное и самое значительное событие XIX века – куда важнее наполеоновских войн... Такой народ, со способностью такого (религиозного) слышания, если услышит настоящее живое слово, – повернет около себя весь мир, как около солнца вертится земля». Что это, мания величия или гордыня отчаяния? Но вот уже не маленькая община сектантов-изуверов, а целый великий народ, сто восемьдесят миллионов людей закопались в землю, погреблись заживо в неимоверном ожидании какого-то «Второго Пришествия». Этому в Европе еще никто не верит, этого еще никто не знает или не хочет знать. Но это уже в самом деле такое событие всемирной истории, что около него может повернуться весь мир, как земля вертится около солнца.

## ГЛАВА 23

«Будущая... русская идея... еще не родилась, а только чревата ею земля ужасно и в страшных муках готовится ее родить», – пишет Достоевский в своем предсмертном дневнике. Муки России в революции, действительно, похожи на страшные муки родов, может быть, не только русских, но и всемирных. Не только Россия, но и все человечество в наши дни так же, как во дни Рождества Христова, «чревата ужасно», ужасно беременно, по слову пророка: «...младенцы дошли до отверстия утробы матерней, а силы нет родить». И может быть, недаром первый приступ рождающих болей происходит именно в России. Достоевский думал, что всемирная революция начнется в Европе и кончится в

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
России: «Социалисты бросятся на Европу, и все старое рухнет; волна разобьется лишь о наш берег». Произошло обратное: волна поднялась от русского берега и еще неизвестно, разобьется ли о Европу или Европу разобьет.

«Россия скажет величайшее слово всему миру, которое тот когда-либо слышал», – предсказывал Достоевский в «Дневнике писателя» за 1877 год по поводу только что появившейся «Анны Карениной» Л. Толстого и в 1880 году в заключительных словах пушкинской речи: «Будущие русские люди поймут... что стать настоящим русским значит: внести примирение в европейские противоречия». И другой великий пророк, еще менее услышанный, чем Достоевский, за тридцать лет до него предсказывал теми же почти словами, как он, что в христианстве, как оно переживается или будет пережито когда-нибудь Россией, заключена «возможность примирения тех противоречий, которые не в силах примирить человечество, помимо Христа». Высшая цель христианства для Гоголя есть «всемирное просвещение». – «Просветить... значит всего насквозь высветить человека во всех его силах... пронести всю природу его сквозь какой-то очистительный огонь. Слово это взято от нашей (православной) Церкви: „Свет Христов просвещает всех!“»

Кажется, Гоголь в этом религиозном опыте, сам того не сознавая, противопоставляет Русской Православной Церкви будущую Вселенскую Церковь: недаром близкий к нему человек, И. С. Аксаков, утверждал, что Гоголь в религиозных исканиях своих стремился «разрешить задачу, литоински-страшную, которой не разрешили все 1847 лет христианства». Если в религиозном опыте Гоголя есть нечто, по слову Достоевского, «изображающее весь русский народ в его целом», то и Гоголь разрешает ту же «исполински-страшную задачу».

«Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». То, что воля Отца совершается на небе, было понято и принято христианством с бесконечной глубиной и ясностью религиозного сознания. Но что воля Отца должна совершиться и на земле, как на небе, – это, хотя тоже было принято, но не понято и осталось в христианстве только одним из темных апокалипсических чаяний, не осуществленных во всемирно-историческом действии. Доныне раскрыта в христианстве одна лишь половина учения Христа – правда о духе, о небе, о личном спасении. В будущем должна раскрыться и другая половина этого единого целого – правда о плоти, о земле, о спасении общественном – о том, что люди наших дней называют так плоско и недостаточно, потому что нерелигиозно, «социальной проблемой». И обе эти правды должны снова соединиться во всемирно-историческом действии так, как они уже раз были соединены во Христе.

Только религия Троицы, не как отвлеченного догмата, а как живого откровения, совершаемого во всемирно-историческом действии, – только религия Трех, которые суть Едино, – может разрешить и преодолеть страшную антиномию двойственности, заключенную в религии одного Второго Лица, не соединенного с Первым и Третьим.

Высшая точка христианского Запада достигнута в религиозном опыте Паскаля – в «согласовании противоположностей, accorder les contraires». «Два противоположных начала – с этого должно все начинать». «И даже в конце каждой высказанной истины должно прибавлять, что помнишь противоположную истину». «Наше (человеческое) величие заключается не в том, что мы находимся в одной из двух (противоположных) крайностей, а в том, что мы находимся в обеих вместе и наполняем все, что между ними. Но может быть, душа соединяет эти крайности только в одной точке, как бы в раскаленном угле». – «Противоположные крайности соприкасаются и соединяются в Боге, и только в Боге». «Только в Иисусе Христе все противоречия согласованы. En Jesus Christ toutes contradictions sont accordees».

Все «демоническое» в человеке совершается под знаком Двух, а все божественное – под знаком Трех: две в человеке борющиеся, противоположные, низшие истины примиряются в Третьей Истине, высшей, – в Боге. «Два порядка» низших – плоть и дух – соединяются в «Третьем Порядке», высшем, – в «Любви», «le Troisieme Ordre de la Charite».

«Что значит для нас этот религиозный опыт Паскаля, верно и глубоко понял родственник ему по духу человек наших дней, христианин и математик Эмиль Бутру: „Все – едино, одно в другом, как три Лица Троицы“, – эти слова Паскаля озаряют, как молния, весь наш кругозор».

Так же, как тело человека движется в трех измерениях пространственных, – движется и душа его в трех Измерениях Божественных – Отца, Сына и Духа; так, как действует закон мирового тяготения физического на тело человека, – действует и на душу его закон мирового тяготения духовного; вот почему все, кто движутся только в двух измерениях – в плоскости, как будто нет ни глубины, ни высоты, – раздавливаются тяжестью или проваливаются в пустоту. Это и происходит с людьми наших дней везде, а в России, в «Царстве Плоских», под «плющильным молотом» коммунистов, больше чем где-либо.

«Бесы», вошедшие в русский народ, могут быть изгнаны из него только заклятием Трех, которым Гете-Фауст заклинает своего двойника Мефистофеля:

К ногам моим пади...

Не жди

Света, трижды светящего!

Erwarte nicht

Das dreimal gluhende Licht!

Верно угадал Пифагор, что миром правит Число: «музыка сфер» есть божественная, в движении солнца и атомов звучащая математика. Люди наших дней оглохли к музыке сфер, но лучше Пифагора знают, что правящие миром законы механики, физики, химии, а может быть, и биологии выражаются в математических символах – числах.

Символ войны – число Два: два сословия, богатые и бедные, – в экономике; два народа, свой и чужой, – в политике; два начала, плоть и дух, – в этике; два мира, этот и тот, – в метафизике; два бога, человек и Бог, – в религии. Всюду Два, и между Двумя – война бесконечная. Чтобы кончилась война, нужно, чтобы Два соединились в Третьем: два класса – в народе, два народа – во всемирности, две этики – в святости, две религии, человеческая и божеская, – в Богочеловеческой. Всюду два низших начала соединяются в Третьем, высшем, так, что они уже Одно в Трех и Три в Одном. Это и значит: математический символ вечного мира – число Три. Если правящее миром число – Два, то мир всегда будет тем, что он сейчас, – бесконечной войной; а если – Три, то когда-нибудь кончится в мире война и наступит вечный мир.

«Три в одном – Отец, Сын и Дух Святой – есть начало всех чудес», по слову Данте, – и величайшего и для нас нужнейшего из всех чудес – Мира. О, если бы люди наших дней, пред лицом второй Великой войны – возможной гибели всего христианского человечества – поняли, что единственный для них путь спасения – этот: не война, а мир, – не Два, а Три.

#### ГЛАВА 24

Что погубило Россию? То же, что сейчас губит весь мир, – раздвоение, борьба между двумя правдами, земной и небесной, человеческой и божеской. «Две были борющихся воли во мне... и душу мою раздирали они, борясь», по слову св. Августина и по слову Гете:

Ах, две души живут в моей груди!

Хочет одна от другой оторваться.

Что спасет Россию? То же, что спасет весь мир, – соединение этих двух правд. Если не было нигде такого Раздвоения, как в России, то это, может быть, знак, что и Соединение будет в ней такое, какого не было нигде, и что именно здесь, в России, стране величайшей всемирно-исторической полярности, вспыхнет соединяющая молния Трех – то «неимоверное видение» – Распятый на кресте, – которым кончится все бывшее и начнется будущее, может быть, не только для России, но и для всего человечества. «Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Мт. 24, 27). Может быть, освобожденная Россия увидит первая эту молнию, соединяющую Восток с Западом.

Кажется, самые простые люди в наши дни чувствуют, что в мире что-то неладно сейчас, что он на краю гибели, что каждый им сделанный шаг приближает людей к пропасти, куда упав, они уже костей не соберут, и что эта пропасть – вторая Великая война. Но и самые умные, в политике искушенные люди не знают, какая неодолимая сила влечет их к войне и почему все их слова о ней правдивы и сильны, а слова о мире так слабы и лживы, что произнося их, людям было бы стыдно смотреть друг другу в глаза, если бы они давно уже не потеряли стыда. Этого не знают люди в Европе, но может быть, знают в России, потому что там еще помнят что-то о христианстве или что-то узнали о

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
нем, что уже забыли или чего еще не узнали в Европе.

Вся динамика первохристианства в его всемирно-историческом действии родилась от того, что первохристиане чувствовали Второе Пришествие как вечное «Присутствие» Христа на земле, ???????: «Вот я с вами во все дни до скончания века» (Мт. 28, 20). Вся динамика первохристианства родилась не от ведения, а от видения, слышания, осязания Христа. «Осяжите Меня и рассмотрите», – говорит Иисус воскресший ученикам, когда те, подумав, что видят «духа» (или, по другому чтению, «демона»), «пугаются» (Лк. 24, 37–39). «О том, что мы... слышали, что видели своими очами... и что осязали руки наши... возвещаем вам», – скажет и любимый ученик Иисуса Иоанн (I Посл. 1, 1–3), тем же словом, как Воскресший: «осяжите» – «осязали», ???????.

Этот первохристианский опыт «слышания», «видения», «осязания» Христа, – это чувство вечного на земле Присутствия – Пришествия Его, хотя и сохранено было навсегда в таинстве Евхаристии: «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» (I Кор. 11, 26), – чувство это ослабло на христианском Западе так, что от него уже не может родиться новое всемирно-историческое действие. Только на христианском Востоке, в России, оно уцелело, как тлеющий под пеплом огонь, который может всегда вспыхнуть новым пламенем.

Царевич Алексей, сын Петра Великого, говорил фрейлине Арнгейм о людях Западной Европы: «Мудры все, сильны, честны, славны; все у вас есть, а Христа нет. Да и на что Он вам? Сами вы себя спасаете. Мы же глупы, нищи, наги, пьяны, смрачны, хуже варваров, хуже скотов. А Христос с нами есть и будет во веки веков. Им одним и спасаемся». – «Он говорил о Христе так, как, я заметила, здесь, в России, говорят о Нем самые простые люди: точно Он у них свой собственный, такой же, как сами они, простой человек, – удивляется фрейлина Арнгейм и недоумевает. – Я не знаю, что это – величайшая гордыня и кощунство или величайшее смирение и святость?».

Удрученный ношей крестной,  
Всю тебя, земля родная,  
В рабском виде Царь Небесный  
Исходил, благословляя.  
Может быть, ходит Он по этой земле, залитой кровью мучеников, так, как еще никогда не ходил, и благословляет ее, как никогда не благословлял.

Очень знаменательно, что и во главе «Двенадцати» идущий вождь – «двойник» Христа, Антихрист: это – доказательство от противного, что русский народ может идти со Христом или против Христа, но мимо Него пройти не может. Вот потому-то одни только русские люди что-то знают о Нем, что европейцы уже забыли или чего еще не узнали. Знают русские люди, что отступившее от Христа человечество, если не вернется к Нему, осуждено на вечную войну, потому что мир может дать ему лишь Тот, о Ком сказано: «Он есть мир наш, сделавший из обоих одно», (Еф. 2, 14), и кто сам о Себе говорит: «Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам» (Ио. 14, 27).

Если прав был Достоевский, когда предсказывал, что будущие русские люди поймут, что «их удел есть всемирность, не мечом приобретенная, а силою братства», то освобожденная Россия спасет человечество, дав людям вечный мир.

«Сам Иисус (воскресший) стал посреди них (учеников) и сказал им: мир вам!» (Лк. 24, 36). Так же станет Он и посреди народов и скажет: «Мир вам!»

Вот в каком невероятном ожидании «закопалась в землю, погреблась заживо» Россия, – на сколько лет – все равно, потому что такое исполнение такого ожидания стоит.

## ГЛАВА 25

В будущее России, кажется, дальше всех заглянул Гоголь, когда предсказывал: «Светлое Воскресение Христово воспряднуется как следует прежде у нас, нежели у других народов... Мечта ли это? Но зачем же эта мечта не приходит ни к кому, кроме русского?... Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они?... Никого мы не лучше, а в жизни еще неустроенней и беспорядочней всех... „Хуже мы всех прочих“, – вот что мы должны всегда

Мережковский Д. Россия и большевизм [filosoff.org](http://filosoff.org)  
говорить о себе. Но есть в нашей природе то, что нам это (о Светлом Воскресении) пророчит. Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму; нам еще возможно... внести в себя все, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней... Вот на чем основываясь, можно сказать, что Воскресение Христово воспризднуется прежде у нас, нежели у других народов».

Кажется, опять-таки самым простым людям понятно сейчас, что этот Светлый Праздник будет во всем мире только тогда, когда наступит вечный мир и люди поверят, что их уже не обманывают, как обманывали столько раз пустыми словами о мире; поверят, что всемирная война сделалась и вправду такой же невозможной, как всемирная антропофагия. «Женщина, когда рождает, терпит муку, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит муки от радости, потому что родился человек в мир» (Ио. 16, 21).

Новое существо, рождающееся в страшных муках России, есть первый на земле народ, который пойдет к вечному миру – к Царству Божию, – первый, но не последний, потому что и все другие народы пойдут за ним. И тогда Россия, как женщина, родившая младенца, не вспомнит мук своих от радости.

«Две-три горсти муки, две-три горсти крупы... могут меня спасти от смерти», – пишет в «Апокалипсисе нашего времени» умирающий от голода Розанов и тотчас же затем: «Что-то золотое брезжится мне в будущей России – какой-то в своем роде апокалипсический переворот уже... не одной России, но и Европы». Это и значит: «Светлое Воскресение Христово воспризднуется как следует сначала в России, а потом и во всем мире».

И умирающий Блок в те дни, когда почти сошел с ума от ужаса, поняв, что «Двенадцать» писал не он, а его «Двойник», – предсказывал в предсмертном дневнике своем: «Все еще будет хорошо; Россия будет счастлива». В этих кратчайших и простейших словах слышится радость Блока о том, что исполнится эта молитва его:

Те, кто достойней, Боже, Боже,  
Да внидут в Царствие Твое!  
Все человечество в наши дни – под ношею крестною, но на России сейчас – самый острый край креста, самый режущий. Глубина неутоленного страдания – глубина наполненной чаши. Никогда еще не подымало человечество к Богу такой глубокой чаши, как в наши дни, и эта чаша – Россия.

Россия гибнущая, может быть, ближе к спасению, чем народы спасающиеся, распятая – ближе к воскресению, чем ее распинающие. Вот почему сквозь бесконечную скорбь русских изгнанников слышится надежда бесконечная:

Она не погибнет, – знайте!  
Она не погибнет, Россия.  
Они всколосятся, – верьте!  
Поля ее золотые.  
И мы не погибнем, – верьте!  
Но что нам наше спасенье?  
Россия спасется, – знайте!  
И близко ее воскресенье. [44]  
Примечания

1

Впервые: Наш край (Вильно). 1920. 25 февраля. № 46.

2

Впервые: Виленский курьер. 1920. 28 февраля. № 244. С. 3.

3

Впервые: Свобода (Варшава). 1920. 20 июля. № 3. С. 1.

4



Впервые: Свобода (Варшава). 1920. 29 июля. № 11. С. 1.

5

Впервые: Свобода (Варшава). 1920. 25 августа. № 26. С. 1.

6

Впервые: Свобода (Варшава). 1920. 8 сентября. № 46. С. 1.

7

Впервые: Свобода (Варшава). 1920. 11 сентября. № 48. С. 1.

8

Впервые: Свобода (Варшава). 1920. 16 сентября. № 52. С. 1.

9

Впервые: Свобода (Варшава). 1920. 28 сентября. № 62. С. 1–2.

10

С осторожностью (лат.).

11

Впервые: Свобода (Варшава). 1920. 2 октября. № 66. С. 2–3.

12

Святая простота (лат.).

13

Моральная невменяемость (англ.).

14

Впервые: Общее дело. 1920. 7 ноября. № 115. С. 3.

15

Впервые: Общее дело. 1921. 14 января. № 183. С. 2.

16

Впервые: Общее дело. 1921. 29 марта. № 257. С. 2.

17

Впервые: Новая русская жизнь (Гельсингфорс). 1921. 4 июня. № 124. С. 2.

18

Впервые: Общее дело. 1921. 18 сентября. № 428. С. 2.

19

Впервые: Общее дело. 1921. 17 октября. № 457. С. 2.

20

Впервые: Общее дело. 1921. 25 декабря. № 525. С. 2.

21

Впервые: Современные записки. 1925. № 26. С. 218–223.

22

Впервые: Новый дом. 1926. № 2 (декабрь). С. 31–32.

23

Впервые: Новый корабль. 1927. № 1. С. 20–22.

24

Впервые: Новый корабль. 1927. № 1. С. 34.

25

Впервые: Новый корабль. 1927. № 2. С. 29–31.

26

Впервые: Возрождение. 1927. 18–22 декабря. № 929–933.

27

Впервые: Возрождение. 1928. 26 января. № 968.

28

Крушение, крах (нем.).

29

Впервые: Возрождение. 1928. 9 и 28 марта. № 1011 и 1030.

30

Впервые: Новый корабль. 1928. № 4. С. 14–21.

31

Впервые: Возрождение. 1930. 20 ноября. № 1997.

32

Впервые: Иллюстрированная Россия. 1931. № 1 (январь). С. 11.

33

Впервые: Возрождение. 1932. 21 апреля. № 2515.

34

Впервые: Сегодня. 1933. 1 октября. № 271. С. 2–3.

35

Впервые: Меч. 1934. 5 августа. № 13–14. С. 3–5.

36

Впервые: Меч. 1934. 2 сентября. № 17–18.

37

Впервые: Возрождение. 1935. 7 июня. № 3656. С. 5.

38

Впервые: Сегодня. 1937. 4 июня. № 151.

39

Впервые: Парижский вестник. 1944. 8 января. № 81.

40

Впервые: Мережковский Д. С. Тайна русской революции: Опыт социальной демонологии. Москва. Русский путь, 1998.

41

Трехкратно сияющий свет. Гете. «Фауст». Сц. 3.

42

З. Гиппиус. Электричество.

43

Н. Некрасов. Тишина.

44

З. Гиппиус. Нет.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimeg.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimeg.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!